

[Polaris]

Владимир
ЛЕНСКИЙ



ЧЕРНЫЙ
СТАВ

Русский оккультный роман

Том III

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXI



Salamandra P.V.V.

**ВЛАДИМИР
ЛЕНСКИЙ**

ЧЕРНЫЙ СТАВ

Роман

Русский оккультный роман
Том III

Salamandra P.V.V.

Ленский В. (Абрамович В. Я.).

Черный став: Роман (Русский оккультный роман, т. III). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 243 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXI).

Действие неоготического романа некогда популярного, но забытого писателя Владимира Ленского (1877-1932) «Черный став» разворачивается на фоне полу-реалистической, полу-лубочной гоголевской Украины. Мистические страхи и роковые страсти, чертовщина и колдовство, легенды прошлого и зловещие развалины, демонические разбойники, пьяницы-селяне и цыганские костры – для всего этого нашлось место на страницах «Черного става». Роман вышел в свет незадолго до революции и переиздается впервые.

ВЛАДИМИРЪ ЛЕНСКИЙ
ЧЕРНЫЙ СТАВЪ

Р О М А Н Ъ .



МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО.

ЧЕРНЫЙ СТАВ

Чертово Городище

Богатый мужик, по фамилии Бурба, приехавший неизвестно откуда, купил Мазепово или, как его называли местные крестьяне — Чертово Городище, и с первого же дня принялся там так хозяйничать, что только треск и стон пошли кругом.

Это было одно из красивейших мест древней столицы Малороссии — Батурина; когда-то, в исторические времена Украины, Городище представляло собою богатую усадьбу с великолепным барским домом и многочисленными службами, окруженными огромным парком, разбитым на холмах, высоко над Сеймом.

Теперь от дома и служб не осталось и следа; только парк, сказочно разросшийся за несколько столетий, по-прежнему темнел над рекой своими гигантскими вязами, вербами и тополями и в непогоду глухо шумел, точно вспоминая старину и рассказывая о чудесах давнего времени.

Никто не знал, кому принадлежало это имение, и никому и в голову не приходило, что оно продается и может сделаться частной собственностью. Поэтому население Батурина было крайне удивлено, когда разнесся слух о покупке Городища каким-то простым мужиком и возмущено его бесцеремонным и наглым хозяйничаньем в усадьбе.

А хозяйничанье Бурбы выразилось прежде всего в том, что он стал рубить старые вековые деревья и из них строить себе дом. В самой середине парка образовалась большая поляна, вся усеянная торчащими пнями срубленных вязов и тополей, и на этой поляне выросла хата, крытая соломой в щетину, как у богатых крестьян, с резным деревянным крыльцом и фигурным гребнем.

Покончив с хатой, Бурба продолжал вырубать парк, вывозя бревна для продажи в соседний город Конотоп. Его, видимо, сильно беспокоило то, что на покупку Городища

ему пришлось затратить почти весь имевшийся у него капитал, и он старался возможно скорее выжать эти деньги из самого же имения, нисколько не считаясь с тем, что это выжимание сопровождалось обезображиванием местности и уничтожением памятника старины.

Об этом Бурба совсем не думал. О Мазепе он знал понаслышке, рассказы о нем считал стариковскими сказками и не верил в то, что тот когда-нибудь существовал и жил в этом парке. Да если бы это даже и было так — какое Бурбе до него дело? От Мазепы уже и костей не осталось, а Бурба был живой человек и ему нужно было думать прежде всего о себе.

Считая весь мир одной усадьбой, существующей только для того, чтобы он мог извлекать из нее возможно больше для себя выгод, Бурба вырубил почти весь парк, оставив только молодую поросль, несколько тощих тополей у хаты и над самым склоном к Сейму — пять старых, дуплистых, уже не годившихся для продажи вязов.

Оголенные холмы с торчащими пнями, похожие на щетку, приняли жалкий, пустынный вид полного разорения и нищеты. Там, где прежде так привольно, дико и гулко рокотали тополя и мелко, серебристо шелестели осины и вязы, где сумрак густых ветвей целый день звенел от неслышимого гама, свиста и пения птиц — теперь растерянно блуждал и носился ветер, грустный и бесприютный, плача и стелая, точно на могиле близкого, родного человека, от которого ничего не осталось...

Всю эту операцию с рубкой парка и продажей деревьев Бурба совершил ранней весной, когда снег только что сошел с полей и холмов и Сейм разломал свои ледяные оковы и с грохотом и шипеньем погнал упрямо упиравшиеся льдины к своему батьке-Днепру.

Когда в конце апреля прилетели в Городище соловьи — они не нашли не только своих гнезд, но и самого парка, который прошлой весной так чудесно оглашался по ночам с разных концов их трелистым перекликаньем.

Покружившись в печальном недоумении над голыми, щетинистыми холмами и посоветовавшись между собой,

они взяли лет в сторону кочубеевского сада и там решили устроиться, несмотря на близость людей и их жилищ.

Никто не помнил, чтобы в кочубеевском саду было когда-нибудь так много соловьев, как в эту весну...

II

Вечерние тайны

А весна выдалась на славу.

Правда, часто перепадали дожди и на улицах Батурина стояла непролазная грязь, но зато было тепло и в воздухе пахло чем-то таким приятным, нежным, сладким, что на душе становилось радостно, точно пришло Бог весть какое счастье.

А когда показывалось и начинало пригревать солнце — можно было совсем потерять голову и забыть о всяких делах, шатаясь из улицы в улицу по мягким, едва протоптанным, просыхающим на солнце тропинкам, среди огромных луж и глубокого, грязного месива, в котором, блаженно похрюкивая, копошились исхудавшие за зиму, облезшие свиньи...

Рано в этом году зацвели фруктовые деревья.

Весь Батурин тонет в садах. При каждой, самой захудалой хатенке, с торчащей ключьями на крыше соломой, со свороченной ветрами набок трубой, с кривым, точно пьяным, на подпорках, крыльцом — есть непременно сад, хоть и небольшой, но густо засаженный деревьями, среди которых можно найти и яблони, и сливы и груши, а на улице перед окнами — узенький палисадник с двумя-тремя топольками и вишнями.

Вишен особенно много в батуринских садах, — может быть, потому, что ни одно дерево не бывает таким красивым, нежным, грациозным во время цветения, как вишня. Ее ветви, впрочем, не менее прекрасны и в то время, когда среди темно-зеленой листвы, напоминающей лавры и имею-

щей почти тот же запах, яркими рубинами, точно капельки крови, краснеют зреющие вишни...

К концу апреля все село имело какой-то сказочный вид. Деревья оделись в белые или бледно-розовые, с лиловатым оттенком, пушистые одежды, от которых сады казались призрачными, легкими, похожими на облака, опустившиеся на землю с весеннего неба.

Что-то нежное, таинственное, мистически прекрасное таилось в этих густо засыпанных цветами, сияющих на солнце и мягко светящихся вечерними сумерками деревьях, всюду задумчиво и тихо глядящих из-за соломенных крыш и ивовых плетней.

По всем улицам разливалось сладкое, пряное благоухание цветов яблонь и груш и отдающий горьким миндалем аромат цветущих слив и вишен. Казалось, кто-то невидимый ходил по улицам и кривым переулкам Батурина и кадил из неисчерпаемой, неугасимой кадильницы каким-то небесным благовонием...

Весна кружила всем головы — не только молодым девушкам и парубкам. Бурба, возвращавшийся из Конотопа после продажи последней партии городищенских вязов, проезжая по главной улице Батурина, у сада Стокоза потянул носом — и даже зажмурился от удовольствия. Он мысленно пересчитывал свою выручку, но от благоухания цветущих деревьев все цифры перепутались у него в голове, и на одно мгновение его душу овевало чем-то теплым, милым, от чего приятно и больно защемило в сердце. И он сказал — не то с досадой, не то с грустью:

— Эх, Марынка!..

И задумчиво погладил красной, волосатой рукой свою широкую, рыжую бороду...

Бурба был человек деловой, ему некогда было заниматься пустяками, а чувство, вызванное в нем запахом цветущих деревьев, почему-то напомнившим ему одну из батуринских девушек, конечно, было пустяком, потому что не давало никакой денежной выгоды. Он тотчас же нетерпеливо мотнул головой, точно стряхивая с себя это непро-

шенное очарование весны, и снова принялся высчитывать, помогая пальцами, выручку за проданный лес...

У кочубеевского сада, когда он проезжал мимо Черного става, на него опять пахнуло этой теплой радостью, и в сердце защемило еще сладостней и больнее — и уже не от вишневого и яблочного цвета, который здесь заглушался сырым, гнилым запахом стоячей воды, поднимавшимся с гладкой, похожей на черное зеркало, поверхности става, а от чего-то другого, что было сильнее всяких цветов и ароматов.

Над ставом темнели деревья кочубеевского сада, и там стояла такая глубокая тишина, точно в его чаще совершалось что-то страшно важное, таинственное и деревья чутко, внимательно сторожили свою вечернюю тайну. С другой стороны, за холмом, где стройно высились, призрачно белаясь в синеватых сумерках высокими, легкими, прямыми, как свечи, колоннами развалины дворца графа Разумовского, тихо догорали и гасли на пушистых, как клочья тумана, облаках розовые отблески последнего сияния зари, и небо, утрачивая эту прощальную улыбку дня, становилось холодным, задумчивым и грустным, точно вместе с солнечным светом угасало что-то дорогое, чему с утра до вечера не могла нарадоваться земля.

А на крыльце хаты, стоявшей как раз против кочубеевского сада, Бурба увидел дочку псаломщика Суховея, ту самую Марынку, которую он недавно помянул с таким глубоким и тяжелым вздохом. Она была закутана во что-то белое и казалась такой же легкой, нежной и прозрачной, как выглядывавшая из-за крыльца вишня, вся осыпанная белыми, как снег, цветами.

Девушка смотрела куда-то поверх всего, что было перед ней, большими, тихими, затянутыми тенью грустной задумчивости глазами...

Немудрено, что Бурба опять сбился со счета и у него вышибло из головы все цифры. Он даже рассердился. Тишина и сумрак кочубеевского сада, отблеск зари на облаках, темная, волшебная зеркальность Черного става — все это было в порядке вещей, как всегда бывает весенним

вечером, и здесь не к чему было придрататься; но то, что девушка поздно вечером, когда добрые люди уже собираются спать, стоит на крыльце вся в белом, как привидение, и смотрит, как полоумная, Бог знает на что и такими глазами, что за сердце хватает — это уже ни на что не похоже! Тут есть от чего смутиться и забыть о своих делах!..

Поглядев кругом себя и на тихую, неподвижную девушку, застывшую у двери, под навесом крыльца, Бурба замер на телеге и невольно задержал лошадей, которые послушно пошли в этом месте шагом.

Он смотрел на белую фигуру Марынки не отрываясь, точно завороченный ее неподвижностью и безмолвием, ее остановившимся взглядом. И ему показалось на одну минуту, что все, что было в его жизни — было не то, что нужно, что ему недоставало чего-то самого главного, чтобы быть вполне спокойным и довольным. И деньги, и Городище, и новая хата, и продажа леса — все это хорошо, но не так уже важно, а вот что-то большое, настоящее так и не далось ему в руки, что-то такое, без чего, казалось, и жить вовсе нельзя было. И об этом он узнал только теперь, взглянув на стоявшую на крыльце Марынку, ворожившую в сумерках своими русалочьими глазами...

Смутное беспокойство закралось ему в сердце. Здоровый, широкоплечий, твердый, как кремь, он вдруг весь как-то размяк, ослабел. Его рука сама невольно потянулась к шапке — и он поклонился Марынке низко, с глубоким почтением, как не кланялся ни попу, ни становому приставу, ни даже исправнику...

А Марынка его вовсе и не видела. Она все смотрела куда-то в одну сторону и на его поклон не ответила. И когда Бурба заметил это — он старательно почесал в затылке, чтобы показать, что он вовсе и не думал кланяться, а снял шапку только для того, чтобы почесаться.

Странное, внезапно овевшее его очарование разлетелось, рассеялось, и все стало опять, как и было — простым, понятным, обычным. И опять показалось очень важным и нужным — сосчитать выручку за бревна: не обсчитали ли его конотопские лесники?..

Тут только он заметил, что лошади его стояли у самой воды Черного става и тянулись из хомутов, чтобы напиться. Нахлобучив шапку до самых бровей, он сердито дернул вожжи, посулил кому-то вслух «лысого дида» и больно хлестнул кнутом по крепким крупам своих добрых, вороных коней.

Когда лошади вынесли его на пригорок — он все же не утерпел и оглянулся назад. Девушка все еще стояла на крыльце, тихая, белая, а из кочубеевского сада доносились робкие первые трели соловьев, точно пробовавших голоса.

Бурба неопределенно мотнул головой, уже не сердясь больше, и вздохнул недоуменно и горько:

— Эх-хе-хе!..

Он нарочно задержал рассказавшихся лошадей и заставил их идти шагом, чтобы не так скоро попасть в свою пустую, неуютную хату в разоренном, опустошенном Городище...

Заря погасла, и звезды, как крупные слезы, засияли в темнеющем небе...

III

Чертовщина

Любопытные батуринцы часто стали похаживать вокруг да около Мазепова Городища: интересно было знать, что еще затеет этот неведомый, таинственный Бурба, появившийся Бог весть откуда и завладевший лучшим хутором в селе.

Бурба держал себя так, словно он был в родстве с самим чертом или, по крайней мере, с уездным исправником. Он ни с кем не знакомился, в селе никогда не показывался, возился в своем Городище с работником, которого он привез откуда-то с собой и от которого ничего нельзя было узнать по той простой причине, что тот был глухонемой.

Многие даже начинали питать к Бурбе злобу. Что он за человек такой? Каким ветром занесло его сюда? Что он будет делать здесь, когда для всякого дела нужны люди, а он отгородился от всех, как черт от праведников?..

И уже пошел смутный слух по Батурину о каких-то прошлых, недобрых делах Бурбы, благодаря которым он и разбогател, слух, неведомо кем пущенный, не имевший, казалось, никакой достоверности, но почему-то пришедшийся по вкусу и принятый как первая зацепка, по которой, может быть, и удастся когда-нибудь добраться до истины.

Батуринцы, как и все сыны поэтической Украйны, большие романтики и мечтатели; часто простая неизвестность, отсутствие сведений о человеке, отклонение его жизни от их уклада — заставляет их воображение разыгрываться, давая пищу для самых невероятных догадок и предположений, рождая целые легенды. Если слух о Бурбе и не был выдуман кем-нибудь из батуринцев, а принесен со стороны каким-нибудь досужим болтуном, то они, во всяком случае, не пропустили его мимо ушей, потому что он удовлетворял их потребности необычайного и давал хоть какое-нибудь объяснение непонятному поведению странного пришельца.

К этому слуху мало-помалу, как к снежному кому, прибавлялись подробности: говорили, что Бурба, на совести которого будто бы лежит какое-то тяжкое преступление, не может смотреть людям в глаза, что у него в хате днем и ночью, не только по праздникам, но и в будни, горят во всех комнатах перед иконами лампадки и он до поздней ночи бьет поклоны, замаливая какой-то большой грех, не дающий ему покоя.

Рассказывали еще, что временами ночью в Городище раздаются какие-то дикие крики, словно там кого-то режут; что вокруг этой утрюмой, одинокой усадьбы до рассвета бродят какие-то темные тени, заглядывающие в окна хаты и со скрежетом зубовным грозящие ему кулаками, а в овраге под Городищем с вечера заливается смертным воем какая-то таинственная собака, которая умолкает лишь с

третьими петухами и днем куда-то пропадает, точно проваливается сквозь землю.

Передавали еще о привычке Бурбы постоянно вытирать правую руку о полу свитки, и когда он делал это — его лицо становилось черным и перекошенные губы шептали: «Кровь! Кровь!..»

Этого, конечно, не видел никто, как и того, что Бурба разговаривает с кем-то в то время, как около него никого нет, что, перегнувшись в окно развалин дворца, он кого-то о чем-то просит, плачет и бьет себя кулаком в грудь, когда всем хорошо известно, что в развалинах никто не живет, кроме сов и летучих мышей, да еще враждебных человеку темных сил, злобно и насмешливо отзывающихся из черной глубины обвалившихся зал на каждое слово, произнесенное снаружи...

Рассказывая о Бурбе всякие небылицы, каждый рассказчик ссылаясь на другого, как на очевидца, тот на третьего, третий на четвертого, и хотя, в конце концов, очевидца так и не оказывалось — все же получалось впечатление, что кто-то в самом деле есть, кто все это видел своими собственными глазами...

Ко всему этому музыкант Скрипица, известный в Батурине пьяница, игравший по кабакам на скрипке и напивавшийся до бесчувствия почти каждый Божий день — стал всюду рассказывать совершенно невероятную историю, которая, однако, в некоторых своих частностях подтверждалась свидетельскими показаниями. История эта заключалась в следующем.

Однажды ночью, возвращаясь домой, пьяный Скрипица заблудился в переулках и никак не мог найти свою хату. Грязь была невылазная, он с трудом, держась за плетень, вытаскивал из нее свои пудовые чоботы, обливаясь потом, ругаясь и отплеываясь.

Он не мог точно сказать — вспоминал ли он тогда черта, но, вероятно, без этого не обошлось, потому что когда он, уже вконец замучившись, остановился, не зная, что дальше делать — кто-то у самого его уха произнес:

— Пойдем, дядько, я доведу тебя до дома!..

Ночь была такая темная, что своей руки не было видно. Сколько Скрипица ни глядел вокруг себя — он так никого и не увидел. Он подумал: же почудился ли ему человеческий голос? И, чтобы проверить, спросил:

— А ты кто?..

В ответ раздался смех — хриплый, противный, точно старый баран заблеял; и кто-то низким басом сказал:

— Я — нечистая сила!..

Скрипица плюнул и перекрестился: если это в самом деле нечистая сила — так от креста она должна пропасть.

Действительно, некоторое время ничего больше не было слышно. Скрипица постоял, подождал немного и побрел дальше.

Не успел он сделать и десяти шагов, как опять слышит:

— Хочешь, дядько, выведу тебя на сухую дорогу?..

Подумал, подумал Скрипица: как не хотеть? Не до раз-света же ему путаться так по чертовым улицам, которые как будто нарочно все перепутались, так что и концов не найти! Того и гляди, свалишься где-нибудь под плетень в грязь...

Только он это подумал, а уж его за руку кто-то хватъ — и потащил, да так сильно, что он едва успевал вытаскивать свои чеботы из грязи. Рука, что его тянула, была горячая, мохнатая, с острыми когтями. Скрипица показывал всем на своей левой руке следы, похожие на царапины от кошачьих когтей...

Через короткое время он почувствовал под ногами сухую почву, но не успел еще этому подивиться, как вдруг заметил, что он поднимается на воздух и мохнатая рука тащит его все выше и выше.

Правая рука у него была свободна, и он мог бы перекреститься, чтобы избавиться от наваждения, но он хоть и был тогда сильно пьян, все же сообразил, что если черт от знаменья креста пропадет, то он, Скрипица, оставшись в воздухе без поддержки, полетит вниз с Бог знает какой высоты и разобьется о землю вдребезги. Об этом нечего было и думать.

И он, скрепя сердце, покорился, только зажмурил глаза от страха...

Прошло несколько минут, и он почувствовал, что уже сидит на каких-то камнях. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой — кого ж бы вы думали? — самого Бурбу! Тот кресалом высекал из кремня искры, пока не загорелся длинным, тонким пламенем фитиль его табакерки. После этого он зажег об него восковую свечку, прилепил ее к выступу гладкого, как стол, камня и вынул из кармана своей свитки бублики, бутылку с вином и стакан. Он налил стакан до краев красным, как кровь, вином, грозно посмотрел на Скрипицу из-под своих густых, нависших над глазами рыжих бровей и сказал:

— Пей! Швыдко!..

Скрипица не посмел послушаться и выпил.

Вино было, как огонь, но от него не было никакого веселья, только в голове зашумело.

Бурба налил и себе стакан и выпил. Вытерев рукавом свитки усы, он крякнул и приказал, сверкая глазами:

— Играй, сучий сын!..

И опять Скрипица не посмел послушаться, вытащил из-под свитки свою старую скрипку и смычок и заиграл.

Что он играл — он никак потом не мог вспомнить. Он заметил только одно — что смычок и пальцы его не слушались, и оттого у него выходила странная, незнакомая, дикая музыка, не похожая ни на одну из тех песен, которые он знал и всегда играл.

Казалось, что это вовсе и не он играл, а кто-то другой, и не его это были пальцы, нажимавшие на грифе струны и водившие по ним смычком, а чужие, над которыми он не имел никакой власти...

Едва он заиграл — как в темноте что-то зашумело, зашвистело, точко налетела и закружилась над ними целая стая огромных птиц. Он даже чувствовал ветер на лице от бившихся в темноте невидимых крыльев...

От страха у Скрипицы захолонуло сердце. Он с радостью перестал бы играть и спрятал бы свою скрипку назад под свитку, если бы не был весь во власти Бурбы — от его

грозных глаз и огненного чертова вина. Бурба смотрел на него не отрываясь, даже когда наливал себе вина — не сводил с него своих острых, как гвозди, блестящих глаз; а его губы чуть-чуть усмехались в бороду, точно он хотел сказать: попался, брат, так уж отыгрывайся!..

Час, два часа или больше играл Скрипица — он не мог сказать. Только у него вдруг сразу занемели пальцы и скрипка выпала из рук.

Бурба поднес ему стакан вина и сказал:

— Теперь я буду играть, а ты слушай!.. Только не смотри по сторонам, а то пропадешь!..

Он взял скрипку и заиграл. И странно — скрипка у него как будто не играла, а говорила, плакала, что-то рассказывала, на что-то жаловалась. Словно то вовсе была не скрипка, а душа человеческая, которую он держал в руках и заставлял рассказывать о ее мучениях...

От этой музыки Скрипице вдруг стало так тяжело, грустно, что он положил на камень голову и заплакал — горько, как никогда в жизни. Боже ж мой, то же ведь его душа плакала и жаловалась так на свою горькую долю! То же ведь на его душе играл Бурба свою жалостную песню!..

И Скрипица в первый раз за всю свою жизнь увидел, что он несчастный, жалкий бродяга, нищий пьяница, что у него никого нет, ни одной живой, родной души, кому он мог бы пожаловаться, кто пожалел бы его и поплакал над ним, что вся жизнь у него — собачья, и смерть его ожидает тоже — собачья.

На Бурба вдруг переменял тон и заиграл веселую плясовую песню, да так, что Скрипица сразу забыл о своих печалих, и его ноги заходили ходуном, точно сам черт затанцевал в них.

Он вскочил, лихо заломил шапку на затылок, как будто с него слетело сразу по крайней мере лет двадцать, подбоченился и пустился в пляс, выбивая о камни дробь своими тяжелыми чоботами, подбитыми железными подковами, из-под которых во все стороны летели искры.

Все веселее, громче, живее играл Бурба, все быстрее ходил, притоптывал и кружился Скрипица, удивляясь своей

ловкости и уменью, которыми прежде, даже в ранней своей молодости, не мог похвалиться...

Но вот он почувствовал, что у него уже нет больше сил, он задыхался, его сердце так прыгало, точно хотело выскочить из груди. Но он не мог остановиться, не мог одолеть этой проклятой музыки. И когда у него уже совсем захватило дух — струны под смычком у Бурбы вдруг с пронзительным визгом лопнули и смычок переломился пополам.

И в ту же минуту перед глазами Скрипицы замелькали страшные, отвратительные рожи, высовывавшие красный язык из мерзкой пасти, вращавшие злыми, желтыми, как у сов, глазами.

Свечка погасла. Скрипица сразу остановился, покачнулся — и грохнулся на камни, лицом вниз...

Он услышал хриплый, похожий на бляенье старого барана смех и потом — целый хор каких-то диких криков, хохота, визга и воя. Скоро, однако, все утихло, — и он сам точно куда-то провалился, где уже ничего не было ни слышно, ни видно...

Когда он очнулся — было уже утро. Он огляделся — и с ужасом увидел, что лежит на самом краю одной из стен дворца, на десятисаженной высоте. Скрипки с ним не было. Все лицо у него было разбито, залито кровью. На камне около него лежали какие-то черепки и несколько комков конского навоза, неизвестно как попавшие сюда. Скрипица уверял, что это Бурба превратил бутылку и стакан в черепки, а бублики — в навоз.

Стена была толщиной в полтора аршина, — у Скрипицы волосы поднялись на голове от страха, когда он вспомнил, как отплясывал ночью на этой узкой площадке, на такой страшной высоте. Как он только не свалился — одному Богу было известно!..

В правдивости всей этой истории, конечно, можно было усомниться, тем более, что ее рассказывал человек, который почти никогда не бывал трезвым, — а пьяному мало ли что могло примерещиться!

Но несомненно было то, что Скрипица, действительно, провел ночь на стене дворца — его с большим трудом сня-

ли утром с развалин. На его скрипке, которую нашли на земле у стены, в самом деле были оборваны струны и смычок был переломлен пополам.

Эти данные заставляли задуматься даже менее легковверных, не веривших рассказам о чертовщине. И только немногие остались при особом мнении, в том числе и Стокоз, владелец шинка, неисправимый скептик, который объяснял эту историю тем, что для пьяного человека нет ничего невозможного: он может забраться даже на телеграфный столб и плясать там, а потом преспокойно заснуть на его верхушке.

По мнению Стокоза, Бурба и его вино, игра на скрипке и пляс — все это не что иное, как только пьяное сновидение Скрипицы, а что на его скрипке оборваны струны и поломан его смычок — так нужно еще удивляться, что сама скрипка уцелела и не превратилась в щепы, пока Скрипица карабкался на стену, и что он сам не свернул себе шею и остался цел и невредим...

Стокоз был человек положительный, обстоятельный и, хотя его в шинке постоянно окружали пьяные люди, у которых от вина ум за разум заходил — он всегда оставался трезвым и только посмеивался себе в усы, слушая их фантастические бредни, навеянные винными парами. И Скрипице, выслушав его историю, он сказал с хитрой усмешкой:

— Пошел бы ты до Бурбы — пускай он тебе даст грошей на струны та на смычок! Та заодно еще научит играть свою чертову музыку!..

Скрипица, ежась, сердито отвечал:

— Пойди к нему сам, если еще не видал лысого дида!..

Как бы там ни было, но Скрипица несколько дней ходил героем: ведь он первый мог кое-что порассказать о Бурбе!..

IV

Черт и ладан

Но вот однажды, Бурба сам, своей собственной персоной, явился в воскресенье в церковь, к обедне — и Скрипица сразу из героя превратился в самого настоящего «брехуна». Все увидели, что в Бурбе не было ничего необыкновенного: такой же человек, как и все, только роста непомерно большого да одет лучше других.

Его появление вызвало среди молящихся тревожное движение, все зашептались, подталкивая друг друга, оглядываясь на него, теснясь к стенам, чтобы дать дорогу. Даже старенький отец Хома, служивший обедню, умолк на минуту и с любопытством глядел на Бурбу, в раздумье, забывшись, поглаживая свою белую длинную бороду, торчавшую из ризы.

А Бурба, ни на кого не глядя, осторожно, стараясь не стучать своими новыми, на подковках, блестящими сапогами, от которых за версту пахло дегтем, прошел к клиросу и там стал, смиренно сложив руки на поясе, опустив голову. Время от времени он медленно, истово кланялся и крестился, тихонько подтягивал густым басом певчим и потом спокойно, от нечего делать, разглядывал иконопись на стенах и сводах церкви.

На людей он не смотрел, — не потому, что боялся, как говорили, а просто не замечал их, не обращал на них никакого внимания, как на пустое место, точно в церкви, кроме него, никого больше не было.

Изредка только он оглядывался на дочку псаломщика, стоявшую у другого придела, немного позади его, окидывая ее пристальным, острым взглядом с головы до ног, как будто что-то примеривая и соображая. Когда она поднимала голову и встречала его взгляд ясными, испуганными голубыми глазами — он отворачивался, как ни в чем не бывало, и, усмехаясь себе в усы, с довольным видом поглаживал свою рыжую бороду...

К концу обедни он уже никому не казался таинственным и страшным: и руку о полу свитки он не вытирал и сам с собой не разговаривал. То, что он пришел в церковь, крестился как все и даже подпевал певчим — явно противоречило предположению о его связи с нечистым. У многих зудели кулаки от злости на Скрипицу и других болтунов, морочивших людей своими пьяными выдумками...

Только Марынка все еще со страхом поглядывала на Бурбу и вся сжималась и замирала, когда он поворачивал к ней голову. Что-то было в нем такое, что наполняло ее сердце беспокойством и тревогой.

Он был на голову выше всех ростом и у него была важная, пушистая рыжая борода, закрывавшая почти всю грудь. Лицо у него было деловое, серьезное, глаза под нависшими бровями смотрели куда-то в себя, сосредоточенно, точно он и здесь высчитывал в уме какие-то барыши или убытки.

На нем была высокая, из сивых смушек, шапка, синяя суконная свитка, отороченная такими же смушками, поверх которой его крепкий, дюжий стан был обмотан раза три широким красным поясом с бахромой на концах; черные суконные шаровары свисали над голенищами сапог широкими складками. Совсем запорожец, да и только!..

Его можно было назвать красивым мужчиной; может быть, среди батуриных девушек и нашлись такие, которые украдкой загляделись на него. Но Марынке и его лицо и костюм были не по душе. Она с нетерпением ждала конца службы, чтобы поскорей уйти из церкви и не чувствовать больше на себе острого взгляда Бурбы, от которого ей становилось нехорошо, как бывает, когда ее увидит кто-нибудь из мужчин на Сейме, во время купанья, совсем голый. Почему он так смотрел на нее?..

Марынка была красивая девушка, только бледная и худая, должно быть, оттого, что жила у Черного става и дышала его лихорадочной сыростью. Одета она была по-праздничному пестро и нарядно: на ней была белая, вышитая на плечах и рукавах рубаха, бархатная кирсетка; новая червонная плахта обтягивала ее узкие бедра, а несходившиеся спереди края плахты закрывал яркий зеленый, с жел-

тыми разводами, передник; на ногах у нее были надеты красные сафьяновые сапожки, закрытые до щиколоток расшитым подолом «спидницы». На шею Марынка надела все свои мониста, блестевшие и переливавшиеся разноцветными стеклами; сзади, по черному бархату кирсетки, вились яркие ленты, вплетенные в толстые русые косы.

Марынкой все любовались; мужчины пялили на нее глаза, точно она была какое-то Божье чудо. Она к этому привыкла и не испытывала ни смущения, ни страха от таких мужских взглядов, напротив, ей даже было приятно, что никто не смотрел на нее равнодушно. А вот от взглядов Бурбы ей было очень не по себе. Она делала вид, что совсем не замечает его, и если встречалась с ним глазами — надменно и равнодушно отворачивала голову, а ее нежные щеки отчего-то розовели и руки, спрятанные под передником, начинали тихонько дрожать.

В глазах Бурбы таилась какая-то скрытая сила, власть; он любовался Марынкой спокойно, уверенно, как будто он уже решил, что она будет его, не спрашивая даже, хочет ли она этого. Марынке чудилось, что это даже не он смотрел на нее, а кто-то другой, выглядывавший из его глаз, злой и лукавый, проникавший в ее сердце темной, холодной жутью...

Когда окончилась служба и народ повалил из церкви — Марынка долго не могла в толпе пробраться к выходу, стиснутая со всех сторон. Колокола вверх весело трезвонили, солнце сквозь окна заливало всю церковь, пронизывая яркими, цветными от разноцветных стекол лучами синие облака ладанного дыма, народ галдел за дверями храма, — и у Марынки сразу рассеялись все ее страхи. Ей даже смешно стало, что примерещилась такая чепуха. Велика беда, что Бурба смотрел на нее! Пускай себе смотрит, пока у него не повылазило! Ей до этого нет никакого дела! А что до всех этих толков и слухов о нем — так можно ли верить тому, что рассказывают глупые и пьяные люди! Пусть старые бабы развешивают для них уши...

Она была уже около самой двери, когда вдруг кто-то в толпе взял ее за руку, и ее щеку точно обожгло чье-то го-

рячее дыхание. Марынка подняла голову — и обомлела: из-за ее плеча выглянуло склонившееся к ней бородатое лицо Бурбы.

Его губы под усами кривились усмешкой, а из прищуренных под нависшими бровями глаз на нее смотрел все тот же, злой и лукавый, что и раньше...

У Марынки упало и замерло сердце, в глазах помутилось. Как во сне, она услышала его тихий, хриплый смех, действительно похожий, как говорил Скрипица, на бляенье старого барана.

Бурба тихо сказал:

— Ай да красавица!..

Потом шепнул ей на ухо:

— Приходи до меня в Городище...

Марынка рванулась что было силы, выдернула руку из его горячей, волосатой руки, протиснулась в дверь, разорвав и рассыпав нитку с бусами, и почти бегом пустилась через площадь, не чувствуя от страха под собой ног...

А Бурба, выйдя из церкви, пошел в другую сторону, к своему Городищу...

Глядя на его могучую спину и важную, ровную походку, на то, как он презрительно уходил от всех, ни с кем не познакомившись, не перемолвившись и двумя словами — многие почувствовали в нем врага и, смущенно почесывая в затылке, думали:

«Тут что-то есть. Даром люди говорить не станут!..»

V

Чумак Наливайко

В тот же день, поздно вечером, когда в Батурине уже все спали и только соловьи в кочубеевском саду гремели всю да лягушки на Сейме налаживали свой меланхолический концерт — с конотопской дороги, обогнув Мазепово

Городище, вкатилась в главную улицу большая гарба, запряженная парой лохматых цыганских лошадок.

Грохот, производимый телегой в пустой сонной улице, может быть, и заставил кого-нибудь из батуринцев подняться с постели и выглянуть в окно, но на улице никого не было видно, и приезжих встретила только полная круглая луна, заливавшая улицы тихим, призрачно-белым светом, отражавшимся в стеклах домов и в лужах, налитых по выемкам и ложбинкам недавним грозovým ливнем.

В гарбе сидели, закутавшись от ночной сырости в шали, две женщины; одна была уже немолодая, с выбившимися из-под платка седыми прядями волос, другой можно было дать не больше восемнадцати лет, судя по ее круглому, румяно-смуглому лицу с блестящими карими глазами и свежим пухлым ртом. Позади них громоздились узлы, подушки, сундуки и корзины: видно было, что они сюда ехали со всем своим скарбом на долгое жительство.

Лошадьми правил молодой парень — в широком соломенном крестьянском брилле, из-под которого выглядывали только черные, по-хохлацки опущенные вниз усы и крепкие белые зубы, которые открывались улыбкой каждый раз, как он оглядывался на свою молодую пассажирку.

За долгую дорогу — женщины ехали из деревни Гирявки, лежащей в сорока верстах от Батурина — и возница кое-что узнал о них, и они — о нем. Правда, старуха больше молчала, но зато молодая щебетала все время, улыбаясь во весь рот, полный молодых, блестящих, весело смеющихся зубов. Смотреть на нее и слушать ее щебетанье было так приятно, что возница временами совсем забывал о своих лошадях, и они не сворачивали в сторону только потому, что хорошо знали дорогу и торопились добраться до стойла, где можно было поесть и отдохнуть...

Девушка узнала от возницы, что его зовут Корней Наливайко, что у него нет ни отца, ни матери и никаких родных; родом он был из Ворожбы, хату и маленькое хозяйство, оставшиеся от родителей, он продал несколько лет тому назад, на вырученные деньги купил пару лошадей и

гарбу и начал «чумаковать», то есть возить кому куда надо разные товары и пассажиров. У него нигде не было постоянного пристанища, случалось, что за все лето ему и дня не приходилось отдыхать; зимой же он частенько просиживал в Батурине по неделям без дела. Теперь он уже подумывал о том, чтобы обзавестись хатой и заняться каким-нибудь более спокойным делом; у него было уже скоплено для этого достаточное количество «грошей».

— Может, в Батурине и останусь... — сказал он важно, похлестывая легонько своих «цыганчат»...

Девушка, в свою очередь, рассказала ему, что ее зовут Ганкой и фамилия их — Марусевич; у них в Гирявке — свой хутор, на котором она до сих пор и жила почти безвыездно, если не считать ее поездок к подруге Оксане Коваль, жившей в трех верстах от них. Теперь она в первый раз в своей жизни совершала такое большое путешествие. Они также решили поселиться в Батурине; к этому решению их привело убийство зимой в Гирявке каким-то разбойником отца ганкиной подруги, сильно напугавшее их. Убит он был, видимо, с целью грабежа, так как в хате убитого не оказалось привезенных им накануне из Конотопа денег, около четырех тысяч, вырученных им с продажи имения задолжавшего ему помещика. Убийство это было совершено чуть ли не на глазах Ганки и ее матери, гостивших в ту ночь у Ковалья на хуторе; они слышали, как он стонал в соседней комнате, когда злодей резал ему горло. Смертельно испуганные, они притаились на своих постелях, боясь пошевелиться, чтобы и самим не подвергнуться той же участи. Оксана, спавшая с Ганкой на одной кровати, поднялась и пошла посмотреть, что с отцом; она больше не вернулась. Утром, проведя в страхе, без сна, всю ночь, они встали и нашли Ковалья мертвым, с глубоко перерезанным горлом. Оксаны же нигде не было; злодей, по-видимому, убил и ее, но ее труп в хате не оказался. Так до сих пор и не выяснилось, куда запрятал его разбойник...

Ганка и старуха были так потрясены этим страшным злодеянием, что ни за что не хотели больше оставаться в Гирявке. Сколько отец Ганки ни протестовал, не желая рас-

ставаться с родным гнездом, где родились, жили и умерли его отец, дед и прадед — дочь и мать упорно стояли на своем, и он, наконец, вынужден был уступить им. Теперь он остался на своем хуторе, выжидая покупателя; как только ему удастся продать имение — он тотчас же приедет в Батурин, где уже и останется навсегда...

Дорога в разговорах прошла незаметно. И Ганка и Наливайко были довольны друг другом. Видно было, что девушке нравился этот здоровый, красивый парень, глаза которого так задорно поблескивали из-под широких полей брилля, а зубы — из-под черных усов; нравилось ей и то, что он держал себя независимо, как равный им, и его бывалость, приобретенная им в постоянных разъездах и общении с разного рода людьми, и даже то, как на нем была надета его суконная свитка, всю дорогу висевшая у него на одном плече. Ганка была довольна, что он тоже хотел поселиться в Батурине.

— Приходи до нас в гости! — сказала она ему, ласково оглядывая его своими большими карими глазами из-за края шали. — Придешь?..

Наливайко кивнул своим бриллем.

— Добре! Как же можно не прийти к такой гарной дивчине!

Ганка радостно покраснела и засмеялась от смущения.

— От выдумал — гарна! В Батурине, говорят, есть лучше меня!..

Наливайко покачал головой.

— Может, и есть, только я что-то не видал...

Ганка была славная девушка; от нее веяло свежестью украинских садов и полей. Вместе с детской простотой и жизнерадостностью в ней таилось еще что-то тихое, нежное, выступавшее в ней временами на минуту-другую, когда она, вдруг затихнув, бессознательно-грустно склонялась к плечу матери и опускала свои длинные ресницы, ложившиеся на ее глаза темной, задумчивой тенью. В ней точно отражались прозрачность гиравского ставка, дымящегося на вечерних зорях туманом, гребля с широкими столетними вербами, темные, таинственные сады, холмы и до-

лины с их мягкой задумчивостью и мечтательностью пустынной полудикой природы.

Минуты грусти, впрочем, у Ганки проходили очень быстро; и, встряхнувшись после внезапно нахлынувшей задумчивости, она снова смеялась и вся сияла радостью, как украинское солнце, выглянувшее из набежавшего темного облачка...

С сожалением, что приятная дорога уже окончилась, Наливайко подвез своих пассажиров к кочубеевскому саду, который, вместе с домом, арендовал дядька Ганки, брат ее матери, Панас Кондзюбенко. Наливайко въехал в темный сад, полный щелканья и свиста соловьев, и подкатил к хате, стоявшей в некотором отдалении от белого, каменного, крытого железом кочубеевского дома.

— Ой, маты, как страшно! — сказала тихо Ганка, глядя большими глазами в темный сумрак громадных столетних деревьев, кое-где прорезанный бликами лунного света.

Долго пришлось стучать в двери и окна хаты, пока разбудили Панаса. Это был мужик средних лет, рябой, лохматый, неуклюжий, как медведь. Он вышел заспанный, с расстегнутым воротом сорочки, из которого темнела бронзовая мохнатая грудь.

— То ты, Христина? — удивился он, расставив перед старухой руки. — И ты, Ганко?.. Тьфу. Скажи на милость! От так гости!..

Расцеловавшись с братом, Христина объяснила ему, что пока ее муж купит здесь имение — она с дочкой будет жить у него, хотя бы в кочубеевском доме.

— Та живи! — сказал Панас, лениво пожав плечами. — Я с тебя и грошей не возьму. Чи ты ж мне не сестра!..

Он отпер дверь кочубеевского дома, и Наливайко снес туда вещи своих пассажиров. Старая Христина рассчитывалась с возницей, а Ганка ходила по темным пустым комнатам с испуганным лицом и тихо приговаривала:

— Ой, как страшно, маты моя ридна!..

Она походила на кошку, привезенную в новое помещение и тосковавшую оттого, что здесь все было чужое и незнакомое.

— Чи тут и вправду, дядю Панас, жил сам Кочубей? — спросила она, делая большие глаза. — И дочка его, панна Мария?..

— А кто ж его знает! — равнодушно отоэвался Панас, скребя ногтями у себя за пазухой. — Может, и жил...

— А тут в саду, — не унималась Ганка, — есть, говорят, дуб, что посадила еще сама панна Мария. А, дядю Панас?..

Но дядя Панас только рукой махнул: мало ли что говорят люди, всего не переслушаешь!..

— Я богато знаю про панну Марию! — сказал Наливайко, пряча в карман полученные от старухи деньги. — От как приду — расскажу...

Он оставил у Панаса в сарае своих лошадей и гарбу, а сам пошел в село искать ночлега. Ему можно было бы переночевать там же, около лошадей, на сене, но спать еще не хотелось, нужно было пошататься, поискать — не найдется ли кого, с кем приятно было бы «побалакать»...

VI

Марынка колдует

Марынка колдовала себе счастье, стоя по вечерам на крыльце и глядя на темный, тихий, задумчивый кочубеевский сад, наполнявший жутким, таинственным мраком стоячую воду Черного става.

Чуть погаснет заря за садом и хмуро задумаются деревья над водой, обвеянные вечерним сумраком — девушке уже не сидится в хате, сердце у нее сладко и больно сжимается, точно там за дверью уже кто-то стоит и ждет ее. Легкий сизый туман, поднявшийся над ставом, протягивает к ней косматые руки, подступает к самому окну, колышется и кивает, как будто зовет ее под вечернее небо, на ночную прохладу.

И Марынка выходит, сама не знает — зачем, для чего. Стоит, прислонившись к столбу крыльца, под темным на-

весом, как привидение, смотрит на черную воду и темный сад зачарованными глазами и ждет, точно и в самом деле вот тут, сейчас, что-то должно случиться с нею неожиданное, неведомое.

Ей холодно от ночной сырости, ее знобит от мокрого тумана Черного става; холодная лихоманка забирается под сорочку, влажными ледяными пальцами бежит по грудям, спине, просачивается в жилы, вливается в кровь и пожирает всю теплоту молодого тела. Только одно сердце горит и не гаснет, только в сердце она не может проникнуть: оно лежит в груди горячим углем, а озябшее тело бьет мелкая, холодная дрожь...

Марынке страшно стоять тут одной, перед темным, хмурым садом, над злой, черной водой, в облаке седого, точно сторожащего какое-то ночное чудо тумана. А ну как из-за деревьев выглянет какая-нибудь страшная рожа или из глубиной воды поднимется утопленница — панна Мария, дочь Кочубея, которая, говорят, утопилась здесь после того, как Мазепа казнил ее отца и, изменив русскому царю, бежал со шведским королем и бросил ее. Люди видали ее — эту бедную девушку, потерявшую разум, проклятую отцом и брошенную любовником: она поднимается из воды, заломив над головой руки, и плачет горько и жалобно, и ее плач далеко слышно по всему Батуруну.

Как ночью от сумрака и тишины все преображается! Пока горит вечерняя заря и мимо хаты Сухова ходят люди, пока мать Марынки, старая Одарка, доит корову, кормит свиней и гусей, ругает, проклинает и походя бьет скотину, а свиньи визжат, гуси гогочут, лают Енотка и Серко и в хате возится отец, глухой, забытый злой старухой псаломщик, полуслепой, вечно ищущий свои «окуляры»-очки — все кажется обыкновенным, простым и понятным; Марынке скучно, она не знает, что с собой делать, куда при ткнуть незанятые руки. Но когда на дворе и в хате все засыпает, затихает, никто по улице больше не проходит мимо и из кочубеевского сада начинают доноситься осторожные трели соловьев, от которых тишина кажется еще глубже и таинственней — Марынка не узнает своей улицы, са-

да, става, все кажется странным, необычайным, полным тайны и жути каких-то скрытых чудес. И ей больше не нужно искать чем бы занять себя, чтобы не было скучно: она может часами стоять на крыльце, смотреть в сумрак сада и става и слушать тишину. И хоть с каждым часом ночи становится холоднее и страшнее, но она и подумать не может о том, чтобы пойти в хату и лечь спать: сердце у нее дрожит и замирает от какого-то смутного, неясного ожидания.

А чего ждала она?..

Однажды ночью Марынка таки дождалась.

Было уже за полночь; кочубеевский сад и Черный став становились все глуше и темней, несмотря на то, что луна стояла уже высоко и заливала все село белым светом. Был странный тихий час, не слышно было ни лая собак, ни кваканья лягушек на Сейме, ни колотушки церковного сторожа.

На дорогу, что проходила мимо двора псаломщика, падала черная тень от хаты прямо до воды, а дальше, поднимаясь в гору к развалинам дворца, вся дорога блестела от лунного света и казалось, что, если бы по ней пробежала мышь, то ее можно было бы издалека заметить.

И вот на этой-то дороге вдруг показался незнакомый человек. Он шел от развалин не спеша, поворачивая голову направо и налево, останавливался и смотрел по сторонам с таким видом, точно он только что свалился с луны и хотел узнать, куда это он попал.

Поравнявшись с хатой псаломщика, незнакомец вдруг стал как вкопанный, словно зачарованный глубоким, загадочным мраком сада и става.

Марынка вся обмерла. Она даже закрыла глаза — так жутко ей стало от неожиданного появления этого чужого, неизвестного человека.

Она знала всех мужчин на селе — такого, как этот, в Батурине не было.

Он был в сапогах и широких шароварах, опоясанных зеленым поясом, на голове у него колыхался широченный

соломенный бриль, а на одном плече небрежно висела темная свитка. Кто он такой? Откуда взялся?..

Он уже почувствовал позади себя живого человека — и обернулся к Марынке. Лицо его было в тени, падавшей от шляпы; Марынка заметила только черные усы и блестящие улыбкой зубы.

— Кого ждешь, Марынка? — сказал он, как старый знакомый. — Пора спать, час поздний!..

Он тихо засмеялся и пошел к ней...

Марынка стояла, опусти в голову, ни жива, ни мертва. Она не раз испытывала такое чувство во сне, когда нужно бежать от чего-нибудь страшного, а не можешь двинуть ни рукой, ни ногой. Только когда он ступил на первую ступеньку крыльца и у него под ногой закрипела гнилая доска — девушка подняла глаза и увидела живые, черные, весело и лукаво поблескивавшие в тени шляпы глаза.

— Добрый вечер! — сказал он, приподымая бриль. — Не узнала, Марынка?.. И то правда, давно я тут не был...

Теперь Марынка уже узнала. Как же! Это же Корней Наливайко, чумак из Ворожбы, известный драчун, никому не дававший спуска. Марынке всегда нравилось, что он держал себя так гордо и за каждую малейшую обиду лез в драку, сколько бы ни было обидчиков. Он был очень силен и почти из всех драк выходил победителем. Старики говорили, что из него выйдет толк, а молодежь недолюбливала и побаивалась его. Он уже месяца два не показывался здесь, и никто особенно не печалился о нем; а уж Марынка так и думать о нем забыла...

И вот он неожиданно появился — да еще ночью, на пустой дороге, как выходец с того света. Марынка смотрела на него большими испуганными глазами. Почему раньше она никогда не пугалась, когда встречала его, а теперь вся дрожит? Она даже на приветствие его не ответила, все в ней занемело от страха...

За дверью хаты вдруг послышался сонный, злой окрик старой псаломщицы:

— Марынко! Та иди уже в хату, чортова дочь!..

Девушка, точно очнувшись от сна, вскинула голову и тихо отозвалась:

— Сейчас, мамо!..

Она метнулась было к двери, но Наливайко схватил ее за руку.

— Постой, Марынка! Славная ты дивчина!..

Из-за его головы Марынка вдруг увидела на дороге, прямо против крыльца — большого, широкоплечего мужика, который смотрел на нее блестящими злыми глазами и скалил, как собака, зубы.

Марынка вспомнила, как эти же самые глаза смотрели на нее сегодня утром в церкви: такие глаза только и есть у одного Бурбы из Чертова Городища!..

Это в самом деле был Бурба. Он стоял в тени, падавшей на дорогу от хаты, и его лицо казалось черным, а глаза горели зеленым огнем, как у дикой кошки...

Не помня себя от ужаса, Марынка вскрикнула и бросилась в хату. Притаившись за дверью, тяжело дыша, она прислушивалась к тому, что происходило на дороге у крыльца, и вся дрожала, как осиновый лист под ветром.

Там сначала шел громкий разговор, потом началась какая-то возня, слышалось тяжелое, с хрипом дыхание двух здоровых, как будто боровшихся людей. К Марынке вдруг донесся хриплый смех Бурбы; она не могла побороть своего любопытства, тихонько приоткрыла дверь и выглянула в щель.

Так и было — они дрались. Наливайко лежал на земле, а Бурба сидел на нем и бил его кулаками куда попало.

Но не прошло и минуты, как все переменялось: теперь уже Бурба лежал, а Наливайко сидел на его животе и душил его за горло...

Марынка закрыла дверь и, затаив дыханье, ждала, чем это кончится...

Скоро все стихло. Только кто-то тяжело, протяжно стонал. Снова приоткрыв дверь, Марынка увидела одного Бурбу, который с трудом, кряхтя, поднимался с земли. Он угрозил куда-то в сторону кулаком, бормоча ругательства, и поплелся в гору, по дороге к Городищу...

Марынку всю ночь была лихорадка...

VII

Чумацкий запах

Наливайко искал себе пристанища и, видимо, не находил, потому что на другой день, вечером, он появился у Черного става с сундучком за плечами, составлявшим весь его багаж. Ему, должно быть, надоело уже таскаться по селу со своим имуществом, и он остановился у хаты Сухова.

Марынка сидела у окна, притягиваемая сумраком задувавшегося на закате кочубеевского сада и легким паром вечерней сырости, поднимавшимся от темной, зеркальной поверхности става; появление Наливайко вызвало в ней необычайное волнение. Она вся вспыхнула, потом снова побледнела; спрятавшись за занавеску, она с тревожно бьющимся сердцем следила за чумаком, который отдыхал у крыльца и, видимо, раздумывал — что ему делать с сундуком.

Но он недолго ломал себе над этим голову: вдруг поднял на плечо сундучок, поглядел на окна суховеевой хаты — и решительно шагнул к крылечным ступеням. Марынка испуганно вскочила и заметалась по комнате. Куда бы ей от него спрятаться?..

В передней щелкнула дверная клямка — и Марынка остановилась посреди комнаты, с волнением ожидая, что будет дальше.

Старая Одарка все еще возилась во дворе со скотиной, псаломщик чего-то задержался в церкви — и Марынка в хате была одна. Уже слышен был шорох в темных сенях, где Наливайко ощупью искал в темноте ручку двери.

Открыв дверь, он прежде всего просунул в комнату свой большой бриль, потом — сундучок, который он тотчас же спустил на пол.

— Здорово, Марынка!—сказал он, снимая шляпу. — Чи не можно оставить тут мои причиндалы? Га?..

Он говорил так просто и спокойно, что и сама Марынка сразу успокоилась. Она приняла холодный вид и гордо, по своей привычке, откинула назад голову. Чего ей, в самом деле, было бояться Наливайко? Он — простой чумака, а она — дочка псаломщика, пусть он это знает!..

Она равнодушно пожала плечами и, не глядя на него, ответила:

— Та оставь...

Наливайко ногой подвинул сундучок в угол комнаты.

— От и добре! — сказал он весело. — А я тебе за то, как поеду в Конотоп, гостинцев привезу...

Марынка опять пожала плечами, показывая ему этим, что ей вовсе не нужны его гостинцы.

— Не хочешь, Марынка?

У Марынки был такой недоступный вид, словно у нее не было особенной охоты и разговаривать с ним. Она отвернулась и коротко сказала:

— Не надо. Не хочу!..

Наливайко усмехнулся.

— Ты, может, сердись, что я вчера всыпал твоему кавалеру? Так он же сам полез драться!..

Марынка вспыхнула. Вот еще новости — он считает Бурбу ее кавалером! Мало ли кто шатается тут мимо хаты!..

Она отошла к окну, не желая с ним больше разговаривать. Наливайко засмеялся, оскалив свои белые зубы.

— А досталось-таки ему! В другой раз не захочет!..

Марынка вспомнила, как Бурба, кряхтя, поднимался с земли — и ей стало смешно; она невольно усмехнулась одним уголком рта. Это хорошо, что он проучил Бурбу, так ему и надо!..

— Ну, прощай!—сказал Наливайко, надевая свой бриль.
— Если ночью выйдешь на крыльцо — так я приду. Да, может, опять будет тот рыжий?..

У Марынки гневно загорелись глаза ярким синим огоньком. Но она ничего не сказала и повернулась к нему совсем спиной.

Наливайко, посмеиваясь, покачал головой:

— И сердитая ж дивчина!..

Он ушел с таким видом, точно и не заметил, что обидел Марынку. И это еще больше рассердило ее. Когда его шаги затихли за окном — она вскочила с места со слезами обиды и злости на глазах, подбежала к сундучку Наливайко и с сердцем пнула его ногой. Как он смел даже подумать, что Бурба — ее кавалер!..

Потом она бросилась в сени и крикнула, открыв дверь во двор, звенящим от слез голосом:

— Чего вы там копаетесь, мамо? Идите уже в хату! Вечерять время!..

— Тю! Сказилась! — отозвалась Одарка и, продолжая доить корову, придушенным от злобы голосом завопила:

— А ты, анахвема! Ще й бодається, мазепа проклятая!..

Марынка вернулась в хату, достала из-за иконы тоненькую восковую свечку, зажгла ее и присела с ней на корточки перед сундучком Наливайко. На крышке сундучка были наклеены разные картинки; она долго, подняв брови, с каким-то недоумением и смущенным любопытством рассматривала их.

От сундучка пахло степным воздухом, дорожной пылью, дегтем, сухим сеном, лошадьми; Марынка низко нагнулась к нему лицом, вдыхая эти запахи. От удовольствия она даже зажмурилась и тихонько засмеялась.

Она и не догадывалась, что этот чумацкий запах, которым несло от сундучка, ей был так приятен потому, что так пахло и от самого Наливайко. Это ей и в голову не приходило...

Она совсем села на пол и задумалась, тихонько и нежно поглаживая рукой крышку сундучка.

В эту ночь Марынка уже не колдовала на крылечке, рано легла и спала всю ночь. И даже лихорадка не трясла ее...

VIII

Чертовы песни

Скрипице повезло: он сдал Наливайко в своей хате комнату и получил от него вперед за месяц пять рублей. Это был капитал, о каком Скрипица и мечтать даже не мог. Но в том настроении, в каком он был последнее время — эти неожиданно свалившиеся к нему деньги не произвели на него никакого впечатления. В другое время он, наверно, загулял бы и пропил их в три дня, теперь же, повертев в руках синюю бумажку, он сунул ее в свою скриню и забыл о ней, как о чем-то совершенно ненужном.

С некоторого времени со Скрипицей творилось что-то неладное, в нем произошла какая-то перемена, словно его подменили или сглазили. Он совсем перестал пить, по шинкам ходил только по привычке, скрипку же свою при людях вовсе не вынимал из-под свитки и ни за какие деньги не хотел играть.

— Разве ж то музыка? — мрачно говорил он. — Смех один, та й годи!..

Сидя где-нибудь в углу, он все о чем-то напряженно думал, словно хотел что-то вспомнить. Иногда, точно одержимый, он вдруг вскакивал с места и убегал, и его уже нигде не могли найти.

Забившись на чужом дворе где-нибудь за клуней, он принимался тихонько водить смычком по струнам — осторожно, неуверенно, как будто разучивая по памяти слышанную им где-то песню. Ему не удавалось уловить мотив, он обрывал и снова начинал то что-то бесконечно жалобное, печальное, то залихватски-веселое — какие-то новые песни, которых он никогда раньше не играл. Должно быть, они непрочно сидели у него в памяти, потому что он то и дело сбивался на какой-нибудь старый мотив. В конце концов он с досадой запикивал под свитку скрипку и, тяжело вздыхая, плелся домой, где снова принимался наигрывать, недоуменно приговаривая:

— Ах ты, Боже ж мой! Как же оно играетя!..

Среди дня с горя он заваливался спать. Под вечер вылазил на свое крылечко и продолжал пиликать, вспоминая не дававшиеся ему песни...

Его хата стояла на самом краю села, на высокой горе, над Сеймом. С крыльца видны были синевшие в вечернем тумане колонны разумовского дворца, воздушные и печальный в своей тихой покорности разрушения, веющие пустынною брошенности, таинственностью давно не обитаемого жилища. Глядя на них, Скрипица, казалось, слышал эти странные, мучившие его песни, но едва он прикасался смычком к струнам — как они вспархивали и улетали, исчезая из его памяти и слуха. Сбившись, он поворачивался к дворцу и со злостью грозил в ту сторону смычком и скрипкой...

Наливайко, застав его раз за этим занятием, долго слушал молча; ему нравилась музыка Скрипицы, и он одобрительно похлопал музыканта по плечу.

— Добре ты играешь, Скрипица! Хоть на папскую свадьбу!..

Но тот безнадежно махнул рукой и отвернулся, сказав с досадой:

— Та не то, хай ему бис!..

— А чего тебе надо?

— Чертовых песен, вот чего! — раздраженно ответил Скрипица...

Даже ночью, во сне, он тяжело вздыхал и бормотал, скрежеща остатками своих гнилых зубов:

— А ну тебя к лысому батьке с твоей проклятой музыкой!..

Однажды вечером, вместо того, чтобы вернуться к себе домой, Скрипица поплелся по главной улице Батурина, как будто так себе, ради прогулки, а на самом деле — с совершенно определенной целью. Ему не хотелось признаться и самому себе, куда он идет и зачем; но он знал хорошо, что ему не миновать Чертова Городища.

Вышел он к кочубеевскому саду, свернул на конотопскую дорогу — и пришел-таки к самому Городищу.

Уж совсем свечерело. Унылый и пустынный вид имело Мазепово Городище, со своими голыми холмами, всюду торчащими пнями срубленных деревьев и одиноко стоящей между ними хмуро насупившейся хатой с несколькими жидкими топольками у крыльца. Позади хаты виднелось еще какое-то строение, без окон, с одной широкой дверью, зиявшей, как раскрытая черная пасть.

В окнах хаты было темно, всюду — пусто и тихо: казалось, что здесь никто и не жил. За Городищем на востоке синело небо темной тучей, розовой по краям от зари, и эта туча придавала еще более мрачный характер опустошенной местности и одинокому дому.

Скрипица остановился в некотором отдалении и боязливо посматривал на темные окна хаты. Далекая туча глухо погромыхивала за Сеймом и мелькала тусклой зарницей, точно раскрывала и снова смыкала огненные глаза, и злобный блеск зарницы отражался в черных стеклах, как будто в хате загоралась и тотчас же потухала свеча.

Скоро и в самом деле там блеснул огонек, и сквозь стекла было видно, как по комнатам двигалась большая темная фигура. Потом в сенях щелкнула клямка, скрипнула дверь — и на крыльцо вышел Бурба. Он посмотрел направо и налево и тихонько посвистал. Откуда-то выбежала большая черная собака и стала к нему ласкаться.

Скрипица притаился за кустами. Ему показалось, что у собаки из глаз брызжет огонь; он осторожно, сняв шапку, перекрестился...

Из черной двери сарая вышел работник Бурбы и стал что-то показывать руками хозяину. Бурба тоже делал ему руками какие-то знаки, и они оба при этом молчали.

Скрипица со страхом смотрел на них. Что это за дьявольский разговор? Ему пришло в голову, что они знают о его присутствии и сговариваются о том, чтобы погубить его душу. Бедная душа Скрипицы затрепетала от ужаса. Он хотел бежать, но не мог двинуться с места...

Работник Бурбы, быстро показывая что-то на пальцах, злобно замычал, мотая головой. Бурба топнул ногой и по-

грозил ему кулаком. Тот съежился и замычал уже жалобно, выставив перед собой руки, точно защищаясь от удара.

Тут только Скрипица вспомнил, что работник — глухонемой и иначе, как на пальцах, с ним разговаривать нельзя. Это его несколько успокоило: значит, тут никакой чертовщины не было...

Не успел он это подумать, как из широкой черной двери сарая послышался протяжный жалобный крик, потом громкие стоны. Черная собака подняла морду и завывала протяжным и жалобным воем. Бурба сказал что-то работнику на пальцах — и тот пошел к сараю. Собака побежала за ним.

В сарае снова возобновились крики. Кричала как будто женщина и так, словно ее там больно били. Несколько раз она взвизгнула, как под ударами плети, потом испуганно застонала, точно ожидая новых ударов и, наконец, совсем замолкла...

Собака выбежала из сарая и понеслась к крыльцу, на котором все еще стоял Бурба. На полпути она остановилась, подняла морду и стала нюхать воздух. Ее уши поднялись, она вся насторожилась — и вдруг бросилась прямо к кустам, за которыми притаился Скрипица.

Глухо ворча, свирепый пес просунул в кусты оскаленную морду. Скрипица увидел, что у собаки глаза совсем не огненные и что это пес самый обыкновенный; но страх его от этого несколько не уменьшился, потому что это был все же огромный, злой зверь, попасть в зубы которому было бы не особенно приятно.

Собака подняла оглушительный лай, стараясь схватить его то за полу свитки, то за сапог, увертываясь от смычка, которым испуганно размахивал Скрипица. Короткий, тоненький смычок — плохая защита от собак, и едва ли Скрипице удалось бы легко отделаться от этого зверя, если бы к нему не подошел сам Бурба.

— Ты что, дядько, тут делаешь? — спросил он сердито, отгоняя ногой собаку.

У Скрипицы от страха прыгали губы, и он с трудом пробормотал:

— То я так... Я ни... ничего...

Бурба подозрительно оглядел его.

— Что тебе нужно?

— То ж я, Скрипица!..

— Так что?

— От то ж я к твоей милости, пан Бурба! — уже осмелел Скрипица, снимая шапку и низко кланяясь. — Есть до тебя дело...

— Какое дело?

— Не могу я без тех чертовых песен! Так допекло, что хоть помирай!..

— Иди до дому, та выпись! — сердито сказал Бурба. — Чего тут пьяный шатаешься по дорогам!..

— От ж ей Богу, ни одной капельки во рту не было с той ночи, как пил твое чертово вино!.. А как же спать, когда в голове так и играет, так и играет! От, взял бы сейчас и сыграл — так нет же! Не дается, морочит бесовская сила! Такая чепуха выходит, что хоть плюнь! Аж за сердце берет, и не дай Боже! Даже до горилки никакого аппетита нема!..

Бурба пожал плечами.

— Сдурел ты, дядько! — сказал он, наклонив голову и как будто раздумывая о чем-то. — Не знаю, что тебе и сказать..

Скрипица снова снял шапку и низко поклонился.

— Сделай Божескую милость, пан Бурба, научи, а то совсем хоть в домовину!..

Бурба молчал, думая о чем-то, сурово нахмутив свои густые рыжие брови. Скрипица ждал, осторожно заглядывая за спину Бурбы, в раскрытую дверь хаты, освещенной внутри огоньком лампадки в красном стекле.

В хате у Бурбы было так чисто, словно у него была тут хозяйка, которая заботилась о порядке и уютиности. Стены сплошь были закрыты картинами, изображающими Страшный суд с чертями, мучающими грешников, афонский монастырь с плавающими над ним в облаках ангелами и праведниками, пророка Даниила во рву со львами и потом — в огненной печи, воскресение Лазаря и разные случаи из жизни святых и угодников. Красный угол был заставлен множеством икон в бронзовых и серебряных ризах.

Присутствие в хате такого множества икон и изображений святых смутило Скрипицу. Как же так? Разве может человек быть в связи с чертом, когда у него в хате — прямо как в церкви?.. Скрипица совсем упал духом. «Богов сколько понатыкано! — думал он. — Для черта и места нема!..»

Бурба, наконец, поднял голову и пристально посмотрел на Скрипицу.

— Ты сам, дядько, добре играешь! — сказал он, хитро посмеиваясь. — На что тебе моя музыка?..

— Добре та добре! — согласился Скрипица, смущенно разводя руками. — А не то. Уже ж я знаю...

В глазах у Бурбы засветился тусклый, зловещий огонек.

— Пускай будет по-твоему! — сказал он. — Посмотрим, что из того выйдет!..

Он повернулся и пошел через двор, к раскрытой двери сарая. Скрипица боязливо двинулся за ним.

Черная собака забежала вперед и прыгнула в дверь. Оттуда тотчас же послышался ее протяжный вой. Кто-то там откликнулся таким же долгим, за душу хватающим воем.

Скрипица со страхом попятился назад.

— Иди, не бойся! — сказал Бурба, сурово сдвинув брови...

IX

Дорога в «пекло»

В глубине сарая, в темноте, яростно рычала собака, и там слышались чьи-то сдавленные стоны. Бурба зажег о подошву сапога серник и засветил сальную свечку, которую подал ему работник, тотчас же скрывшийся в темноте.

Маленький тусклый огонек свечи озарил уголь сарая и в нем женщину, лежавшую прямо на голой земле. Ее платье было изорвано, плечи, руки, грудь обнажены и покрыты красными полосами, словно от ударов плетью. Уставив-

шись сумасшедшими глазами на Бурбу, она приподнялась, подняла руки и с искаженным от ужаса лицом закричала:

— Ой, лышечко, боюсь! Ой, Боже мой милый!..

Собака, точно отвечая ей, глухо взвыла. Бурба спокойно посмотрел на женщину и погрозил ей пальцем. Та тотчас же съежилась и пугливо забилась в угол, глядя оттуда безумными, полными смертельной тоски и страха глазами.

— Свояченица моя, — объяснил Бурба Скрипице. — Скаженная...

Бурба уверенно шел в глубину сарая, а Скрипица, дрожащий от страха, уже подумывал о том, как бы ему поскорей уйти отсюда. Позади него шла черная собака, сторожившая каждое его движение; когда он оглядывался на дверь — собака глухо ворчала, скаля свои страшные зубы. О бегстве нечего было и думать...

Бурба вдруг стал спускаться в какую-то яму — сначала ушел в нее по пояс, потом по шею и наконец — совсем скрылся с головой. Скрипица увидел в яме ступени, которые вели в погреб. «Может, то дорога в самое пекло?» — со страхом подумал Скрипица. Снизу ему светил Бурба своей свечкой, стоя уже в самом низу лестницы.

В это время сумасшедшая женщина опять закричала из своего угла:

— Кровь! Кровь!.. Тату, мой тату!..

Бурба вздрогнул и невольным движением страха и отвращения стал тереть руку о полу свитки; заметив, что от Скрипицы не ускользнуло это движение, он со злостью сказал:

— Чертова баба! Совсем сдурела! Сам с ней разум потеряешь!..

«Эге! — подумал Скрипица. — Так оно и есть! Значит, люди не брехали...»

Погреб был узкий, длинный, с покатым полом, уходившим все глубже и глубже в землю. Скрипица, идя за Бурбой, все больше утверждался на мысли, что тот в самом деле ведет его в чертово «пекло». А тут еще что-то белое с

глухим стуком покатилося у него из-под ноги; он вгляделся и в страхе попятился назад, бормоча:

— Свят, свят... Иисусе Христе, Матерь Божия!..

Это был человеческий череп — страшный, смеющийся черными провалами глаз и оскаленными зубами. Откатившись в сторону, он смотрел на Скрипицу, не переставая смеяться всем оскалом своих белых зубов и, казалось, даже подпрыгивал на земле от смеха.

Бурба оглянулся и сказал:

— Тут их до черта! Панов чи холопов ховали — кто его знает!..

Дальше Скрипица наткнулся уже на целую кучу человеческих костей, сложенных горкой у стены подземелья. Тут он вспомнил, что рассказывали люди о Городище — будто Мазепа бросал сюда людей, почему-либо неприятных ему, и они здесь умирали голодной смертью. Хода сюда никому не удавалось найти, так что и само существование подземелья было подвержено большому сомнению. Видно, сам черт помог Бурбе найти его в этом проклятом месте!..

Подземному коридору, казалось, и конца не было; Скрипица уже потерял всякую надежду когда-нибудь выбраться на свет Божий. «Сам полез черту в зубы! — думал он, почесывая с досадой в затылке. — Та Бог и наказал...»

Бурба вдруг свернул в сторону и остановился. Здесь была широкая пещера с низкими каменными сводами; у стены ее стояли в ряд большие винные бочки. Посередине был врыт в землю широкий пенёк, на котором в глиняной поливной макитре лежали две жестяные кружки. Около пня стояли скамейка и табурет.

Всех бочек было десять. Бурба дал Скрипице попробовать из каждой. В одной вино оказалось чересчур кислым, в другой — слишком сладким, в третьей было терпкое, в четвертой — совсем слабое, в пятой еще мутное и зеленоватое, с виноградными семечками, в шестой — игристое, щипавшее за язык, в седьмой — совсем было бы хорошее, если бы не отдавало запахом старой бочки; в восьмой и девятой было не вино, а какая-то бурда с запахом уксуса, десятая же бочка была совсем пустая: вытащив из нее за-

тычку, Бурба наклонил ее почти вертикально, но из нее ни капли не вылилось в макитру.

— Жаль! — сказал Бурба. — А тут было доброе вино!..

Он всунул в отверстие затычку и пошел опять к первой бочке. Но в ту же минуту Скрипица увидел его сидящим на корточках перед той же, десятой бочкой, в которой ничего не было. Бурба снова приставил к ней макитру, вынул затычку — и из отверстия вдруг полилось сильной струей красное, как кровь, вино.

Скрипица не верил своим глазам: или он сошел с ума, или его морочила нечистая сила! Он даже протер глаза, чтобы лучше видеть. В самом деле — Бурба цедил вино из пустой бочки. Чудеса, да и только!..

Скрипица решил не пить этого чертова вина. Бурба поставил перед ним на пень макитру, наполненную до краев пенящимся, крепко и вкусно пахнущим вином, — и у Скрипицы приятно защекотало в носу. Трудно было устоять перед таким искушением: если раньше перекреститься — то, пожалуй, и можно будет выпить одну-две кружки...

Бурба зачерпнул из макитры кружкой вина и поставил ее перед Скрипицей. Он смотрел так грозно из-под насупленных бровей, что Скрипица забыл перекреститься, взял кружку и разом осушил ее.

Крепкое вино точно огнем по жилам прошло у него по всему телу. По вкусу и жгучести оно было таким же, какое он пил с Бурбой на развалинах дворца. Он поставил кружку на стол и сказал, утирая усы и бороду рукавом свитки:

— От вино, так вино! Сами пессиголовцы не пьют такого вина!..

Бурба засмеялся своим бараньим смехом и, придвинув к нему макитру, сказал:

— Пессиголовцы — дурни, где им пить такое вино! Пей еще! Для доброго человека не жалко!..

Скрипицу тронули эти слова, он совсем расчувствовался; его красные, подслеповатые глаза даже заблестели слезой.

— Я для пана Бурбы хоть черту душу отдам! Вот как!..

Он сейчас же спохватился, что сказал лишнее, но уже было поздно. Бурба поймал его на этом слове:

— Добре! Не цурайся ж того, что сказал!..

Он зачерпнул своей кружкой вина и тоже выпил. Потом взял у Скрипицы скрипку и смычок и заиграл...

Скрипица по первым же звукам узнал ту печальную песню, которую Бурба играл ему на стене дворца. И опять от этой музыки у него на душе стало горько и тяжело и сердце точно клещами сдавило. Он слушал и тяжело вздыхал, вспоминая всю свою жизнь, в которой так и не было до сих пор ни одной настоящей радости. Эх, жизнь собачья! Он стукнул кулаком по пню, выпил вторую кружку вина и залился горячими слезами...

А Бурба все играл и играл, и так приятно было слушать эту музыку и плакать от жалости к самому себе, ко всем людям и даже к самому Бурбе. И не удержался Скрипица, чтобы не сказать сквозь слезы:

— Эх, пан Бурба! Добрый ты музыкант, лучше даже, чем жид Янкель, что на жидовских свадьбах играет! Жалко только, что продал ты чорту душу свою!..

Лицо Бурбы стало таким страшным, что Скрипица весь съежился, точно перед ним стоял сам черт. Глаза у него выкатились на лоб и крутились, как мельничные колеса, зубы оскалились, как у бешеного пса, волосы, борода и усы поднялись и ошетинились, даже уши оттопырились и налились кровью. Он перестал играть, перегнулся через пень и, придвинувшись своим страшным лицом к Скрипице, хрипло сказал:

— А кто тебе сказал, что я продал черту душу?..

Скрипица испуганно забормотал:

— То ж я так... шутковал... Люди брешут — и я с ними.

— Пускай брешут, а ты молчи! — с казал Бурба, сердито отшвырнув ногой белый череп. — Иди зараз до Черного става, та приведи сюда псаломщикову дочку! Чуешь?.. Та смотри! Меня не обдуришь!..

У Скрипицы и руки опустились. Он взмолился, дрожа от страха:

— Помилуй, пан Бурба! Как же это можно! Марынка ж не захочет!..

— Ступай! Геть! — закричал на него Бурба. — Не приведешь Марынку — так я тебя в самое пекло, к чертям сховаю!..

Скрипица взял свою скрипку и смычок и послушно поднялся с места...

Х

Чудеса продолжают

Скрипица не заметил, как и выбрался из подземелья.

Пришел он в себя только на широкой конотопской дороге.

Уже стояла ночь, и круглая, белая луна с высокого неба озаряла весь Батулин, тихо спавший в своих густых садах. За Сеймом громко, словно стараясь перекрыть друг друга, нестройным хором квакали лягушки; из кочубеевского сада доносились переливчатые трели соловьев.

В светлом лунном воздухе далеко были видны стройные развалины дворца, высившиеся на горе над рекой. Скрипица боязливо покосился на них и прибавил шаг, подымая на дороги пыль своими тяжелыми чоботами.

Из Городища вслед за ним неслись какие-то странные звуки — не то филии там хохотал, не то собака тихонько подвывала, или кто-то плакал с протяжными, прерывистыми вздохами и стонами. Он боялся оглянуться назад, на это пустынное, голое, дикое Городище с его страшной дорогой в «пекло»-подземелье и новым владельцем, которому, несомненно, служил сам черт. Прижав под свиткой ко груди скрипку, он шел и шел, покачиваясь от кружившего ему голову бесовского вина.

— Не пойдет Марынка, не пойдет, суча дочка! — бормотал он с тяжелыми вздохами. — Ах ты, Боже ж мой милосердый!..

Он уже спускался с холма на Семибалку, когда вдруг столкнулся с колбасником Жуком, прозванным за его багровый от пьянства нос *Синеносом*. Колбасник тоже был сильно пьян, его качало во все стороны; он сердито зарычал на Скрипицу:

— Лезет, пьяница, прямо на людей! Разве ж тебе мало дороги!..

Скрипица обрадовался встрече с знакомым человеком.

— Кум Синенос?

— Эге! — мрачно сказал Жук. — Может, и я. Так что?

— То я и вижу, что у Стокоза, видно, добрая горилка: тебя так на людей и кидает!..

— Разве ж то горилка, что Стокоз продает? — возразил с огорчением колбасник. — Сколько ее ни пей — пьяным не будешь!.. А вот от тебя как из винной бочки несет винищем. Фу-у-у!..

Он оттолкнул от себя Скрипицу, тот качнулся в сторону и упал на дорогу. Но и сам Синенос от толчка потерял равновесие и повалился в другую сторону.

Скрипица приподнялся, вынул из-за свитки скрипку, осмотрел, потрогал ее. Цела! А Синенос и не пытался вставать. Его совсем разморило и клонило ко сну. Он подложил руку под голову и, вообразив, что он уже дома, стал рассказывать заплетающимся языком:

— У Стокоза, жинка, горилки не пей. Слышь, Домаха? Бо то не горилка, а черт знает что... А ты — ведьма, Домаха! У тебя под юбкой и хвост спрятан! Знаю!... Вон и суховеева дочка — так та тоже ведьма. Ей-Богу! Стоит ночью у хаты, та й колдует. Верно, что не брешу. Одно чертово племя, матери вашей лысого батьки!..

Скрипица послушал его, почесал в затылке и с упреком сказал:

— Эх, кум Синенос, не пил бы ты горилки! А то так и помрешь на дорози, без покаяния!..

Но Синенос уже сладко спал, тихо похрапывая. Скрипица с трудом поднялся и поплелся дальше.

Из слов пьяного колбасника он понял, что тот проходил только что мимо хаты Суховея и видел там Марынку.

Если она еще не ушла в хату — он попробует уговорить ее пойти к Бурбе. Может, она и пойдет. Бурба — жених хоть куда: красивый, богатый. А что он знается с чертом — так псаломщик, вкупе с батькой Хомой, выкурят ладаном нечистую силу хоть из самого черта!..

Вино сильно разбирало Скрипицу; он шел по дороге зигзагами, переваливаясь с одного края на другой. Ему казалось, что это не он качается, а сама дорога уходит у него из-под ног, и он притопывал своими чоботами, чтобы удерживать ее на месте. Но дорога виляла то в одну, то в другую сторону, неудержимо увлекая его за собой, так что он с трудом удерживал равновесие.

— Чи то она, чи то я пьяный? — рассуждал он сам с собой. — От то бесовское вино...

Показались темные, высокие тополя и вязы кочубеевского сада, и оттуда понесло сыростью Черного става. В саду в разных концах щелкали соловьи, а с темной стоячей воды неслись какие-то непонятные звуки, точно там, в глубине става, кто-то плакал и всхлипывал, протяжно, прерывисто вздыхая: ах-ах-ах-ах-ах-ах... Скрипица вспомнил, что говорили люди, будто в этом ставе утопилась дочь Кочубея: может, это ее душа плачет там и вздыхает, не находя себе покоя?.. Он перекрестился, боязливо бормоча:

— Упокой, Боже, душу панны Марии, царство небесное, вечный покой...

Из-за прибрежных верб и вязов выдвинулась белая хата псаломщика, вся озаренная луной; стекла в маленьких окнах под насупленной соломенной крышей ярко блестели переливчатым отблеском лунного сияния. Только на крыльце под навесом было темно, и там что-то белелось, как привидение, приникшее головой и плечом к столбу, подпиравшему соломенный навес.

«Марынка колдует!» — припомнились Скрипице слова Жука-Синеноса. Он остановился, заметив, что она была не одна: перед ней стоял какой-то высокий мужчина в белом брилле. «Уже й наколдовала! — усмехнулся про себя Скрипица. — Да то ж чумак Наливайко!..»

Разговаривать с Марынкой при Наливайке Скрипица счел неудобным. Он присел у самого става, спрятавшись за вербу, и стал ждать...

Марынка и Наливайко громко разговаривали на крыльце; уже по первым словам можно было понять, что они ссорились. Наливайко говорил:

— И злая ж ты, Марынка! Даже поцеловать не даешься!..

— Целуй ту дивчину, что вчера с тобой гуляла! — язвительно отвечала Марынка. — Разве ж я не видала, как ты ей в очи смотрел!..

— Так что, что смотрел? — оправдывался Наливайко. — На то и очи, чтоб смотреть...

Марынка зло засмеялась.

— Можешь с ней хоть жениться! Мне какое дело!..

Наливайко развел руками.

— Так я больше к тебе не приду! — сказал он, рассердившись. — А твоему Бурбе все кости переломаю! Так и знай!...

— Эт, беда какая!.. Только думаю, что у тебя скорее будут переломаны кости!..

Наливайко подвинулся к ней и заговорил уже ласково, примирительно:

— Ну, не сердись же, Марынка. Я ж тебя люблю, ей-Богу, люблю!.. А о той дивчине и не думай. Ты самая гарная на весь Батурин, да и в самом Киеве такой не найти!..

Марынка сердито оттолкнула его и бросилась в хату. Она тяжело захлопнула за собой дверь и с громом задвинула засов. Из хаты донесся сердитый окрик Одарки:

— У-у, скаженна чертяка!..

Наливайко постоял на крыльце, в недоумении поглядел на закрытую дверь и тихо сказал:

— Вот как ты, Марынка!..

Он медленно сошел с крыльца, оглянулся на дверь — не выглянет ли Марынка? — и пошел прочь...

Скрипица, подождав, пока Наливайко скрылся в узкой улочке, прилегавшей, к ставу, вылез из-за вербы и осторожно подошел к хате. Он тихонько позвал у окна:

— Гоп-гоп, Марынка!..

Никто не отозвался. Марынка, верно, уже легла спать. Стучать в окно или в дверь было опасно: мог проснуться псаломщик или, еще хуже, сама Одарка — и тогда не оберешься ругани и скандала.

Скрипица в недоумении почесал затылок: как быть?.. На, его счастье засов в сенях хаты тихо громыхнул и в приотворившуюся дверь выскользнула Марынка.

Она уже распустила свои золотые волосы и была босая, видно, собиралась ложиться спать. Она, по-видимому, думала, что тут все еще стоит Наливайко и зовет ее, а вместо него увидела — Скрипицу.

— Чего тебе надо? — спросила она сердито. — Зачем звал?..

— Дело есть к тебе, дивчинко... — сказал Скрипица смущенно. — Такое дело, что не знаю, как его и сказать...

— Ну?..

— Я до тебя, Марынка, сватом пришел. От, как хочешь — а жених добрый!..

У Марынки даже гнев прошел, так ее удивило сватовство Скрипицы. Она громко засмеялась.

— Нашел время для сватовства! Где ж таки видано, чтобы ночью свататься?.. — она вгляделась в его лицо и ударила руками о бока. — Да ты пьян, Скрипица! Где это ты вина достал среди ночи?..

— А вот же и совсем не пьян. Ей-Богу же, не пьян! Может, немного я выпил, так то ничего... А ты слушай, Марынка, что я тебе скажу...

— И слушать не хочу! — закричала на него Марынка. — Ступай домой, та проспись раньше. Ишь, какой сват нашелся! Вот я мать разбужу, она тебе покажет, как девчат ночью из хаты вызывать!..

— И не пойду! — упрямо сказал Скрипица. — Хоть самого лысого дида разбуди!.. Меня послал сам пан Бурба!..

И он ударил себя кулаком в грудь...

— Вот как? — удивилась Марынка. — Так то ты от Бурбы сватом пришел? С каких это пор он стал паном?..

— Как же! — гордо сказал Скрипица. — Пан Бурба богатый, не то, что какой-то там чумак из Ворожбы!..

Марынка сердито блеснула глазами.

— А, так ты еще подглядываешь тут! Ну, подожди, я сейчас мать разбужу!..

Скрипица испуганно замахал на нее руками.

— И не дай Боже! Пускай старая спит себе на здоровье. Мы и с тобой вдвоем добре побалакаем...

— Нечего мне с тобой балакать! Пошел! Геть! — топнув ногой, гневно сказала Марынка. — Ты — пьяный болтун, вот что! А твоему Бурбе скажи, что он — старый дурень и лысый черт! Если он еще кого вздумает послать сватом — так я тому в очи заплюю!..

Она тряхнула, как норовистая лошадка, головой, откинув назад с груди и со лба волосы, повернулась и ушла в хату, шумно заперев за собой дверь...

Скрипица так и остался перед крыльцом с раскрытым ртом и вытаращенными глазами. «От тебе и побалакал! — думал он огорченно. — И вправду, скаженна чертяка!..»

Полный самых горьких дум, он пошел назад в гору по пустынной дороге. Что он скажет теперь Бурбе? Он даже немного протрезвел от страха: ведь Бурба погубит его, как Бог свят!..

— Эхе-хе-хе! — вздыхал он, тяжело дыбая по пыльной дороге. — Так и помру, и свита не побачив!..

На душе у него стало так горько, такая обида засосала в сердце, что он присел на дороге и залился горькими слезами.

— От то ж я бедный человек!.. Ой, матынька моя родная, пожалей на том свете сиротину убогу!..

Он долго еще плакал бы, если бы у него из-под свитки не выпала на дорогу скрипка, привлекавшая его внимание жалобным дребезжанием струн. Он сразу затих и прислушался к звеневшему в воздухе печальному созвучию.

Дело было в том, что эти звуки очень походили на начало той грустной песни, которую ему играл Бурба. Если бы Скрипица мог их повторить — он уже знал бы, как играть дальше: эта песня уже звучала у него в голове...

Он потянулся к скрипке, отряхнул с нее дорожную пыль и, приставив ее к своему щетинистому, давно не бритому подбородку, попробовал извлечь из струн это унылое дребезжание. Провел смычком раз и другой, — нет, не дается!..

— Ах ты, Господи, Боже ж мой! — вздохнул он, волнуясь в нетерпении, едва держа скрипку в дрожащих руках.

Он попытался еще раз, ткнул пальцы на грифе туда и сюда — и вдруг, неожиданно для самого себя, поймал песню. Дальше он уже пошел смело, уверенно, словно эта музыка давно была ему знакома, и он всю жизнь только ее и играл...

Позабыв обо всем на свете и даже о грозном Бурбе, он водил смычком по струнам, закрыв глаза, раскачиваясь в такт песне всем телом, слившись со своей скрипкой в одно, сладко и грустно звучащее существо, полное тоски и скорби трудной, горькой жизни, исходившее, вместо слез, этими нежными, за душу хватающими звуками. Как могла его скрипка издавать такие чистые звуки? Он переставал играть и смотрел на нее, переворачивал во все стороны: да, это его — жалкая, полуразбитая сосновая скрипка! Что с ней случилось? Она поет слаще девичьего голоса и почти что говорит что-то жалобное и печальное...

И он снова принимался играть, весь полный страха, радости, недоумения. Белая луна задумчиво смотрела на него сверху с высокого неба и, казалось, внимательно слушала, закрыв, как и он, глаза, обливая его тихим, бледным, таким же печальным, как и его музыка, сияньем...

Что-то тихое, тревожное пронеслось в воздухе и как будто легким холодком коснулось закрытых глаз Скрипичицы. Он поднял тяжелые, словно налитые сладкой дремой веки и, не переставая играть, поглядел кругом — на белую, залитую лунным светом, пустую дорогу, на светлевшие вдали, в прозрачном воздухе, стройные колонны и стены дворцовых развалин да темный, притаившийся кочубеевский сад, в котором почему-то уже молчали соловьи, на дымивший легким ночным туманом Черный став и, наконец — на белую хату псаломщика, сумрачно глядевшую темной тенью

навеса и черными, уже лишенными лунных бликов стеклами маленьких окон...

И видит Скрипица — дверь под навесом суховеевой хаты тихо открывается и за порог медленно переступает Марынка. Она босая, в одной сорочке, с распущенными на спине золотыми волосами, похожая на русалку, только что вынырнувшую из воды. У нее глава закрыты, руки сложены накрест на груди...

Скрипица играет, а Марынка слушает и, слушая, как будто спит. Выражение ее спящего лица с закрытыми глазами — такое же безжизненное, мертвенно спокойное, как и у смотрящей на нее с высоты ночного неба белой луны. Она остановилась у верхней ступени крыльца и как будто чего-то ждет, а ее плечи зябко дрожат от ночной сырости и холодного болотного тумана Черного става.

Губы Марынки вдруг искривились болезненной, бледной улыбкой, она уронила с груди голые руки, потом медленно подняла и вытянула их перед собой, словно боясь натолкнуться на что-нибудь, и тихо пошла по ступеням вниз.

Скрипица поднялся с земли и смотрит на нее, продолжая играть, замороженный ее странным, непонятным видом. Марынка спустилась с крыльца и пошла прямо к нему, все еще с закрытыми глазами, дрожа под сорочкой всем телом. Это было так страшно, что и Скрипицу охватила холодная дрожь, и у него даже зубы застучали от страха. Он повернулся к ней спиной, чтоб не видеть ее, и пошел по дороге, пиликаая на своей, изнывавшей от горя и печали скрипке, — и Марынка пошла за ним, с поднятым к луне лицом, со спящими, закрытыми глазами...

Марынка спит и не понимает, что это Скрипица зовет ее своей чудесной музыкой, своей чертовой песней, которую, должно быть, сам Бурба вдохнул в его никуда не годную скрипку...

ХІ

Черт и ангел

В ту ночь Скрипица играл так, как никогда еще в жизни ему не приходилось играть. Пальцы его сами легко и быстро ходили по грифу, смычок, как бабочка, порхал по струнам, едва их касаясь; ему не приходилось делать никаких усилий, казалось, скрипка сама у него в руках пела, заливалась, жалуюсь и плача.

Он шел, как и Марынка, с закрытыми глазами, прислушиваясь к этой необыкновенной музыке, и его грудь распирало от неизъяснимого волнения. Играя, он вздыхал тяжело и шумно, точно ему, от переполнившего его грудь сладостного мучения, нечем было дышать.

— Ах ты Боже ж мой! — бормотал он в изумлении. — Чи то я играю, чи кто другой?..

Он приоткрывал глаза и косился на свою скрипку, чтобы удостоверится, что это его пальцы ходят по грифу и его рука водит смычком по струнам...

А Марынка шла за ним, словно покоренная его музыкой, как будто привязанная чем-то к нему. Он остановится — и она станет, он двинется — и она снова идет. Бледный, холодный свет луны, легкий прохладный ветерок, тишина спящих полей и садов — все казалось наполненным этой музыкой, все звучало, волнуя одинаково и Марынку и Скрипицу. Казалось, они вовсе и не шли, а летели над полем, не касаясь земли ногами, на широких, легких крыльях...

Но вот Марынка начинает уже уставать. Босые ноги дрожат, ступая по холодной пыли на дороге; устал и Скрипица, и его скрипка поет уже не так громко и внятно. Какие-то посторонние звуки примешиваются к ее жалобному пению: это они подходят к пустынному Городищу — и оттуда идет шум, похожий на отдаленный ропот моря.

Всюду в полях тишина, ветер упал и воздух недвижим, а в Городище тополя, что стоят у самой хаты Бурбы,

гулко шумят, рокочут, переливаясь серебром в лунном сиянии. Шум тополей заглушает музыку, и она тонет в нем с жалобными, умирающими вскриками, как душа человеческая в бурном море. А тут еще луна спряталась за набежавшее облачко — и страшно им обоим стало в этом пустынном, диком месте...

Скрипица вошел в Городище — и Марынка за ним; он стал спускаться в подземелье — и Марынка подошла к яме. Она остановилась, прислушалась — и, осторожно ощупывая ногами ступени, спустилась вниз за Скрипицей. В темной глубине подземного коридора чуть теплился на стене отблеск света — и туда направился Скрипица, из последних сил пилика на своей скрипке. Спящая Марынка тихонько стонала...

Бурба сидел у большого пня, где его оставил Скрипица, и перед ним стояла кружка с вином. Свечка, прилепленная к пню, уже догорала, и ее тусклый, желтый огонек освещал только поверхность пня и рыжую бороду Бурбы. У ног его лежала черная собака.

Скрипица вошел в пещеру, продолжая играть, и следом за ним вошла Марынка. Она остановилась, слушая, поводя во все стороны спящим лицом...

Бурба тихо засмеялся.

— Добре! — сказал он шепотом. — Мне уж тут и ждать обрыдло...

Он поднялся со скамейки и подошел к Марынке. Девушка вздрогнула и подняла перед собой руки, как будто защищаясь; но она все еще спала и не знала, где она и что с ней. Бурба взял ее руку и нагнулся к ее спящему лицу...

— Не могу больше!.. — тихо сказал Скрипица, с трудом ужеводя смычком по струнам.

От долгой игры его пальцы совсем занемели, и скрипка у него в руках как будто умирала...

— Играй! — захрипел Бурба, оглянувшись на него и лязгнув оскаленными, как у волка, зубами.

Но Скрипица уже не мог играть. Пальцы его перестали двигаться и руки сами опустились вниз со скрипкой и смычком...

Музыка умолкла — и Марынка сразу проснулась с пугливым трепетом, как выброшенная из воды на сухой берег рыбка. Она увидела близко около своего лица рыжую бороду Бурбы — и в ужасе застонала, заслонившись от него локтем...

— Га, собака! — закричал Бурба на Скрипицу — и бросил марынкину руку...

Марынка побежала по темному подземелью с тихим, жалобным плачем...

Свечка на пне догорела и потухла. И в ту же минуту кто-то в темноте схватил Скрипицу за ворот свитки и ударил сзади коленом в спину так, что он полетел куда-то на добрую сажень. А там опять кто-то отбросил его — и он шмякнулся о стену, как мешок с сеном.

— Калавур!.. — закричал Скрипица не своим голосом. — Ой-ой, рятуйте!..

И ему от его собственного крика почудилось, что кругом поднялся невообразимый гомон; у него даже волосы встали на голове дыбом от страха. И ему ответил Бурба грозным хохотом, похожим на бляенье целой отары баранов...

Скрипица вскочил и пустился бежать со всех ног, но тут чьи-то цепкие руки схватили его за чобот — и он растянулся на земле во весь рост. Какой-то свирепый зубастый зверь навалился на него и с яростным рычаньем рвал его свитку...

Скрипица потерял сознание...

Очнувшись, он увидел, что лежит на конотопской дороге, недалеко от Мазепова Городища, в здорово потрепанной, словно собачьими зубами, свитке...

ХП

Потачкина ведьма

Скрипица рассказал обо всем этом на другой день в шинке Стокоза и вызвал среди слушателей оживленные толки. Тут опять, как и в первой его истории, во многом можно было усомниться, так как и на этот раз Скрипица был пьян, а пьяному человеку трудно разобраться, что было на самом деле и что ему примерещилось.

Не веривший ни одному его слову Стокоз склонен был думать, что все это — одна сплошная «брехня», но тут выступил колбасник Жук, он же Синенос, который подтвердил в одной части рассказ Скрипицы. Правда, и колбасник в тот момент, когда являлся очевидцем необыкновенного происшествия, был тоже жестоко пьян и ему так же, как и Скрипице, могла почудиться всякая чертовщина, — но все же трудно было допустить, чтобы двум, хотя бы и пьяным, людям могло привидеться одно и то же. И это служило некоторым подтверждением правдоподобности рассказа Скрипицы, по крайней мере, в той его части, о которой свидетельствовал Синенос, он же Жук. Остальное же так и осталось на совести Скрипицы...

Колбасник Синенос был очень доволен, что и на его долю выпало рассказать кое-что интересное. Он начал с того, как он столкнулся ночью со Скрипицей на семибалковской дороге и там заснул. Долго ли он спал — он не мог сказать, но когда проснулся — уже пели вторые петухи. А проснулся он не столько от петушиного пения, сколько от музыки, внезапно раздавшейся на дороге.

Он поднялся, протер глаза, посмотрел на дорогу — и снова стал протирать глаза, не веря им. Что за чудеса! По дороге шел Скрипица и играл на скрипке, а за ним плелась, как во сне, какая-то дивчина в одной сорочке, и ветер развеивал за ее плечами волосы.

Синенос долго таращил глаза: уж не снилось ли ему все это? Он достал из кармана своих холщовых штанов таба-

керку и набил тютюном свой багровый нос, который не замедлил трижды громко чихнуть. Нет, значит, он не спит! Только что же это такое? Кто эта дивчина? Не та ли самая ведьма, что привиделась бабке Потачке в клуне, когда она пошла доить свою корову?..

Об этой ведьме уже с неделю ходили в Батурине разные слухи: она появлялась то здесь, то там, расхристанная, простоволосая, с безумными глазами, мычащая что-то непонятное. Говорили, что она портит коров, высасывая из их вымени молоко, после чего эти коровы уже становились безмолочными и бесплодными.

Собственными глазами видела эту ведьму бабка Потачка, жившая по ту сторону Сейма, у самых водяных мельниц. Разыскивая как-то своих гусей на берегу реки, она запозднилась и вернулась домой, когда уже почти совсем стемнело. Первым делом она бросилась к клуне, чтобы выдоить корову, но едва она вошла туда, как ей бросилось в глаза такое, что у нее от страха подогнулись колени и она так и присела: под коровой шевелилось что-то белое, шумно сосавшее из коровьего вымени молоко.

У бабки Потачки отнялся язык, в горле дух перехватило, все тело онемело. Она не могла ни крикнуть, ни пошевелиться. Так и сидела на корточках с открытым ртом и вытаращенными глазами. А странное существо, сидевшее под коровой, напившись молока, вылезло — и Потачка увидела, что это была настоящая ведьма с черным лицом и горящими, как угли, глазами, худая, грязная, распатланная, со скрюченными на руках пальцами. Ведьма блеснула на нее своими сумасшедшими глазами, замычала и бросилась вон из клуны. Бабка Потачка, придя в себя, выскочила за ней — но во дворе уже ее не было: она точно провалилась сквозь землю...

Об этой ведьме Потачка тотчас же раззвонила по всему Батурину; кто верил ей, кто не верил, некоторые говорили, что тоже видели нечто подобное, да только не знали, что то была ведьма. Но наибольшее впечатление толки о появившейся в селе ведьме произвели на колбасника Синеноса, крайне склонного к мистике. Он с того времени всех

баб стал подозревать в том, что они ведьмы, и больше всего — свою собственную жену Домаху.

Раз, спяну забравшись в свою клуню, он увидел сидевшую на корточках около коровы женщину и, недолго раздумывая, схватил ее за волосы и потащил по земле, приговаривая:

— Попалась, чертова ведьма! Я тебе покажу, как у добрых людей коров портить!..

«Ведьма» отчаянно билась, царапала ему руки и вопила не своим голосом:

— Да то ж я, Домаха! Пусти, анахвема!..

— Бреешь! — сказал Синенос, еще крепче заматывая вокруг руки ее волосы. — У моей Домахи голос потолще, а у тебя так совсем поросячий!..

Но он скоро удостоверился в своей ошибке: Домахе, это была в самом деле она, удалось вывернуться из его рук, и она набросилась на него с градом таких красноречивых доказательств в виде отборной ругани и ударов кулаками куда попало, что он только отступал, сконфуженно бормоча:

— И то — жинка!.. А я думал...

— Вот я тебе покажу, как думать, когда у тебя в голове пусто, как в выдолбленном гарбузе!..

И она действительно показала — ухватом, кочергой, подойником, из которого даже не пожалела вылить на его голову все молоко; колбасник целую неделю после этого покряхтывал и почесывал обо все столбы своего крыльца избитые плечи и спину...

Все это убедило его, что то была в самом деле жена, а не ведьма, которую видела бабка Потачка. Но с того дня в нем укоренилось убеждение, что и Домаха — несомненная ведьма, и все бабы — тоже, и если не самые настоящие, то во всяком случае близкие к этой чертовой породе. На этой почве у него с Домахой часто происходили ссоры и драки, и чем больше доставалось ему от жены за такое оскорбительное для ее женского достоинства подозрение, тем тверже он стоял на своем...

То, что он увидел на семибалковской дороге — и удивило и обрадовало его, как лишнее подтверждение его мнения

о принадлежности всех баб к чертову сословию. Девушка, которая шла по дороге за Скрипицей, конечно, не могла не быть ведьмой, раз она связалась со Скрипицей, который был в каких-то тайных отношениях с Бурбой, а значит — с самим чертом. Впрочем, потачкина ведьма была грязная, со сбитыми в войлок волосами, а на этой была чистая сорочка и волосы у нее были светлые и расчесанные, так что эта, пожалуй, еще не была настоящей ведьмой, а только собиралась сделаться ею и теперь училась, проделывая какие-то ведьмовские штуки...

Вглядевшись попристальней и сообразив, откуда она шла, Синенос с удивлением развел руками:

— Та то ж суховеева Марынка! Скажи на милость! Даже у духовенства бабы — ведьмы! Видно, тут и ладон не помогает!

Он долго смотрел вслед Скрипице и Марынке, пока они не скрылись за холмом. Сердце его прыгало от радости: пускай Домаха теперь скажет, что он брешет! Уж если дочка псаломщика таким делом занимается, так о других бабах нечего и говорить!..

Дальнейшее его повествование не имело прямого отношения к рассказу Скрипицы, но Синеноса уже нельзя было остановить, и ему дали досказать до конца, тем более что и здесь дело не обошлось без чертовщины, на которую так падки сыны Украйны.

— От то ж я и кажу, — продолжал Синенос, грустно качая пьяной головой, — что куда ни повернись — тут тебе або сам черт, або его жинка-ведьма!..

Проводив глазами Скрипицу и Марынку, он поплелся в сторону от большой дороги, к узкой улочке, где стояла, третья от края, его хата и колбасная копильня. Домаха давно уже спала и, должно быть, очень крепко, потому что сколько колбасник ни стучал в дверь с крыльца — из хаты не доносилось никакого отклика. Может, она и не спала, а только притворялась, что спит и не слышит стука — так и это возможно, потому что зловредная баба нередко наказывала его таким образом за ночное гулянье, оставляя ночевать на улице.

Обив себе обе руки о дверь, Синенос грустно поплелся во двор, надеясь на тот счастливый случай, что Домаха, может быть, позабыла там запереть дверь. Тут он вдруг увидел, что в глубине двора, около клуни, кто-то вылез из-под коровы и пошел прямо на него; в тени, падавшей от клуни до середины двора, нельзя было рассмотреть лицо этого ночного гостя, но уже то, что он вылез из-под коровы, означало явление далеко не обычного порядка и наполнило сердце Синеноса непобедимым ужасом.

Когда странный посетитель вышел из тени на озаренную луной часть двора — тут уж колбасник не только не проявил той храбрости, с какой он недавно волочил за волосы свою жену, приняв ее за ведьму, но выказал малодушие настоящего труса: он проделал то же самое, что и Потачка, с той только разницей, что та онемела и не могла издать ни одного звука, а он, сидя на корточках и закрыв на всякий случай голову руками, закричал во всю силу своей здоровой глотки:

— А-я-я-я-йй!...

Да и как было не закричать! Ведь то была уже в самом деле настоящая ведьма, та самая, о которой рассказывала бабка Потачка: черная, патлатая, в лохмотьях, с горящими, как плашки, глазами!..

Ведьма, впрочем, тоже была, по-видимому, не из храбрых: она испуганно мотнулась от него в сторону, издав жалобное мычание, бросилась к раскрытой калитке и побежала по улице со всех ног...

На крик Синеноса выбежала из хаты Домаха, сама похожая на ведьму — в грязной рубахе, с растрепанными космами седых волос и искаженным яростью лицом.

— Чего орешь? — злобно набросилась она на мужа. — Какая чертяка тебя укусила?...

— То не чертяка, Домаха, — сказал Синенос, стуча зубами. — Тут была ведьма, та самая, что у Потачки...

— Бреши, бреши! Тебе спяну только и мерещатся ведьмы!..

— Та нет же, Домаха, своими очами видал. Та самая, что Потачка...

— Заладил — Потачка, та Потачка!.. Твоя Потачка — старая бреховка! Она за ведьму приняла Любку-выхрестку, что уже с неделю шатается около Батурина. То она и была. Я уже это знаю. Она тут проходила, как к вечерне звонили...

— Ну? — удивился Синенос. — Так то — Любка?

— Эге ж!..

— Хм... — неопределенно промычал колбасник и, недоуменно пожав плечами, задумчиво проговорил:

— Так от то ж и я кажу, что черт всегда будет чертом, а ведьма — ведьмой. Только, если тут вмешается баба — так черта и не увидишь, а ведьма обернется сумасшедшей Любкой, тем дело и кончится...

Это было очень запутанное рассуждение, которое и самого Синеноса не удовлетворило. Он был сильно сконфужен тем, что поднял такой переполох из-за какой-то Любки. Ему нужно было выйти как-нибудь из этого неловкого положения, и он долго придумывал, что бы такое сказать, чтобы совсем уничтожить Домаху с ее победоносным видом. Он вытащил из штанов табакерку, набил нос табаком, чихнул — и только после этого, наконец, заговорил с самым независимым видом:

— Любка — Любкой, а то, что от иной бабы за версту чертом пахнет — так то уж настоящая правда! От что!..

— А, ты опять! — закричала Домаха, подступая к нему с кулаками. — Замолчишь ли ты, пидбрехач проклятый?...

— Та я не о тебе, Домахо, — возразил Синенос, уже струсив и выставив вперед, на защиту своего багрового носа, обе руки. — То я видал на дороге к Чертову Городищу Скрипицу та суховееву Марынку, та еще как! Скрипица на музыке играет, а она за ним телепается в одной рубашци, бесстыдница. Чудеса, Домаха!..

— Не обдуришь! Знаю тебя! — с обидным недоверием отозвалась Домаха. — Иди уже в хату, чертово быдло!..

Колбаснику досадно стало, что старуха не верила ему, когда он уже говорил настоящую правду.

— Я и не дую! — упрямо сказал он. — Марынка, может, еще и не ведьма, только похоже на то, что будет ведьмой, и

вот ты, Домаха — так уж самая настоящая чертова баба! У тебя и хвост под спид...

Домаха не дала ему договорить. Она как будто только этого и ждала: в ее руках тотчас же очутился увесистый ухват, самый тяжелый из всех, какими она орудовала у печи.

Об этом, конечно, Синенос в шинке Стокоза не рассказывал: только вспомнив об ухвате, он невольно засунул руку за спину и почесал неприятно занывшие плечи...

ХІІІ

Тайна кочубеевского подполья

В ту ночь, о которой Скрипица и Синенос рассказывали такие странные и неправдоподобные вещи, Наливайко совсем не знал, что с собой делать. Ночь была такая, что и думать нельзя было о том, чтобы лечь спать, а Марынка, как назло, рассердилась и ушла в хату. Кто-то ей рассказал, что он провожал вчера Ганку Марусевич в лавку Стеси — она уж и подумала Бог знает что! А он шел с Ганкой только потому, что ему было по дороге. «Гордая дивчина! — думал он о Марынке. — Бог с ней совсем!..»

Весь Батурин давно спал; Наливайко прошел всю главную улицу — и не встретил ни одной живой души. В конце улицы серебрились и тихо шелестели у волостного правления высокие тополя, а за ними широко расстилались ровные поля, прорезанные двумя расходящимися в разные стороны дорогами — на Бахмач и в Конотоп. Наливайко, не глядя, свернул на конотопскую дорогу. Он вовсе и не думал о том, что ему придется здесь проходить мимо кочубеевского сада; было уже поздно, Ганка, наверно, спала, а если и не спала, так ее все равно не вызовешь в такой час из дому. Да и не нужно ему было Ганки...

Однако, проходя мимо кочубеевского сада, он не удержался, чтобы не заглянуть через тын. Кочубеевский домик

был с одной стороны освещен луной, с другой — тонул в темной тени, среди густых деревьев; в окнах было совсем темно. Но на крылечке, в теневой стороне, что-то белелось, словно кто-то там сидел в белом платье. «Может, Ганка?» — подумал Наливайко, уже сидя верхом на тыне.

Он мягко спрыгнул в траву и пошел к дому, шагая через огородные грядки...

Ганка сидела на верхней ступени крыльца, пригнувшись своей полной грудью к коленям, подперев ладонями лицо. Это была одна из ее тихих минут, когда она вся погружалась в недоуменную, беспричинную печаль...

— То ты? — тихо сказала она, блеснув навстречу Наливайко своими выпуклыми, влажно засиявшими глазами.

Она поднялась, сошла со ступеней и, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч, потянулась, выправляя грудь.

— Мать уже спит... — сказала она, смущенно улыбаясь. — А я тут сижу одна, и мне чего-то сумно, аж плакать хочется...

Наливайко смотрел на нее и думал: кто лучше — Марышка или Ганка? Ему даже досадно стало: и зачем только Бог создал так много «гарных дивчат»!..

— В саду страшно... — сказала Ганка, зябко передергивая плечами. — Я одна боюсь. Вчера пошла, а у става что-то булькнуло в воду, так я так испугалась, что меня всю ночь тряса била...

За углом кочубеевского дома стоял развесистый столитный вяз, под широкими ветвями которого сумрак был еще гуще и глуше. Ганка посмотрела туда, прислушалась — и вдруг вся насторожилась.

— Слыхал? — сказала она шепотом, кивая головой на тяжелую, окованную железом дверь погребца.

Наливайко знал, что в Батурине ходили слухи — будто в погребе под кочубеевским домом призраки каких-то, еще при Кочубее замученных узников гремели по ночам цепями и стонали от перенесенных ими пыток.

— То уже не в первый раз... — шептала Ганка, дрожа всем телом. — Мы с мамой слышали той ночью...

За дверью в самом деле что-то звякнуло, потом послышался слабый гул, словно кто-то тяжело вздохнул или на пол упало что-то мягкое...

Наливайко был не из трусливых и ни в какую чертовщину не верил.

— А посмотрим! — сказал он, направляясь к погребу. — Идем, не бойся...

Ганка робко двинулась за ним.

— Гарпынка дяди Панаса сказала, что то — непокаянные души, — шепотом объяснила она...

Наливайко отодвинул засов и с трудом открыл тяжелую дверь. На них сразу пахнуло холодным, сырым, затхлым воздухом подземелья.

Ганка держалась за его руку, пока они спускались по ступеням вниз. Наливайко зажег спичку и огляделся: в погребе никого не было...

Подземелье было разделено толстой стеной на две половины: в первой потолок был повыше и под ним чуть светились синевой ночного воздуха маленькие квадратные оконца, заделанные крепкими железными решетками; во второй половине своды были значительно ниже, так что их свободно можно было достать рукой, и окон здесь не было. Длинное, узкое, низкое помещение походило на каменный гроб, в который, вероятно, не доносилось никаких звуков с поверхности земли. Это было, несомненно, место заключения для каких-нибудь важных преступников или просто врагов и ненавистных людей, которых нужно было сжить со света. На это указывали и большие железные кольца, ввинченные в стены, и потолок, и толстая цепь, заклепанная на одном кольце, спускавшаяся в углу с потолка до пола...

Наливайко осветил все углы и пожал плечами.

— Бабы сказки! — сказал он боязливо жавшейся к нему Ганке. — Люди брешут, а ты веришь...

Но тут, как нарочно, в дальнем углу что-то тихо звякнуло цепью и затем раздался какой-то гулкий, непонятный шум.

— Ой, маты! — тихо вскрикнула Ганка, уцепившись за его руку и зажмурился от страха глаза.

Наливайко посветил спичкой во все стороны; какой-то темный клубок быстро, бесшумно помчался вдоль стены и прошмыгнул около его ног в первую половину погребка...

— То ж крысы! — сказал Наливайко смеясь и обнял Ганку. — Чего ты?.. Им тут обрыдло, они и бесятся...

Девушка молчала. Умолк и Наливайко. Спичка догорела и потухла. В темноте не видно было даже того, что находилось перед самыми глазами. Наливайко нагнулся к Ганке и поцеловал ее — не то в щеку, не то в шею. Ганка издала только тихий стон:

— О-ох...

Он попробовал приподнять ее лицо, которое она прижимала к его плечу; Ганка испуганно прошептала:

— Ой, не надо!..

Но он поцеловал-таки ее в губы, который она тотчас же отдернула, точно уколовшись. Она высвободилась из его рук и пропала в темноте. Наливайко ощупью выбрался из погребка...

Где-то в саду защелкал соловей, точно пробуя голос; ему откликнулся другой, со стороны Черного става, — и оба сразу смолкли. По верхушкам деревьев прошел свежий ветер, и листья тополей и осин засеребрились в свете поднявшейся высоко над садом круглой белой луны. Опять со стороны Черного става донеслось слабое щелканье соловья. Наливайко подумал: «Марынка, верно, уже спит...»

Он нашел Ганку на крыльце. Она подняла на него блестящие, мокрые, как будто она только что плакала, глаза. Смущенно засмеявшись, она сказала:

— Так там вовсе крысы, а не покойники!..

Наливайко хмуро молчал. Ему уже было досадно, что он пришел сюда вместо того, чтобы посидеть у суховеевой хаты и подождать — не выйдет ли Марынка...

— Я пойду! — сказал он, сдвинув свой бриллиант на затылок. — Доброй ночи!..

Ганка посмотрела на него какими-то особенными глазами, не то удивленно, не то испуганно, точно спрашивала:

так-таки и уйдешь?..

Наливайко лениво переступил с ноги на ногу и снова передвинул свой бриль на лоб, что означало: а что ж — так-таки и уйду!.. Видно было, что он о ней вовсе и не думал, и ей оставалось только отвести свои мокрые глаза в сторону и тоже принять спокойный, равнодушный вид...

Она проводила Наливайко до тына и здесь опять вскинула на него совсем уже залитые слезами глаза, которые жалостно говорили: ты ж меня целовал, что ж ты так меня покидаешь?..

Наливайко отвернулся и молча полез на тын...

А когда он уже шагал по конотопской дороге — Ганка стояла у тына и плакала, закрыв глаза краем передника...

XIV

Белое привидение

Еще издали Наливайко заметил, что в хате псаломщика дверь раскрыта настежь. Марынка не спит! Может, она его поджидает?..

Но под навесом никого не было. Из окна марынкиной комнаты, сквозь стекло, казалось, выглядывало чье-то бледное лицо, — но то была не Марынка: это круглая белая луна, глядясь с высокого неба, четко отражалась в стекле окна...

В хате было тихо, и вокруг хаты и у Черного става стояла такая же сонная тишина. Кругом никого не было видно, не слышно было ни шагов, ни голосов. Только во дворе спросонку тихонько, предостерегающе гоготал среди спящего гусиного стада гусак, да в закуте сонно повизгивали поросята и заботливо хрюкала старая свинья...

Наливайко осторожно поднялся по ступеням крыльца и заглянул в дверь. Никого! Он вошел в сени и тихонько окликнул:

— Марынка!..

Никто не отозвался...

Дверь марынкиной комнаты была открыта в сени; луна через окно как раз освещала марынкину постель: белое тканевое одеяло лежало на полу, постель была пуста. По смятой подушке видно было, что девушка поднялась с постели и куда-то ушла. Должно быть, у нее уже было к кому ходить в поздний час ночи!

— Туда, к чертовой матери! — с сердцем выругался вслух Наливайко.

Он вышел на крыльцо, уже громко стуча сапогами. Из хаты слышался сердитый окрик Одарки:

— То ты, Марынка?..

Наливайко, не отвечая, сошел с крыльца. Одарка снова крикнула, обозлившись:

— Та скажи ж, суча дочка, чтоб у тебя язык отнялся!..

Наливайко не хотелось заводить свары с злой бабой и он быстро зашагал по семибалковской дороге. Он уже был далеко от суховеевой хаты, когда к нему донесся крик убежавшей на дорогу Одарки:

— Марынка! Где ты? Го-го!..

Он долго еще слышал ее крики, которые как будто гнались за ним, отставая и затихая в отдалении, за холмами Семибалки. «Ищи Марынку! Гукай до свету! А Марынка — тю-тю!.. — думал он со злостью. Не могла, чертова баба, усмотреть за дочкой! Дивчина и пропала!..»

У развалин старые развесистые липы дворцовой рощи стояли неподвижно, не шелестя ни одним листочком; темные тени под ними прорезывались бледными, серебристыми пятнами лунного сиянья. То там, то здесь из мрака выступала часть древесного ствола, озаренная белым светом; казалось, кто-то поднимался из земли, неподвижно светясь в сумраке деревьев — призрак одного из давних обитателей старого дворца.

Наливайко вошел в рощу — и невольно остановился, увидев эти белые, тихо колеблющиеся привидения.

— Что за пакость! — пробормотал он в удивлении...

Ему стало совсем не по себе, когда засветившийся недалеко от него белый столб вдруг тихонько качнулся, дви-

нулся с места — и быстро побежал вдоль аллеи, то пропадая в тени, то снова выныривая в лунном свете...

Холодная дрожь побежала по спине Наливайко. Что за черт! Не пьян же он и не сошел еще с ума, чтобы видеть всякую чертовщину! Видно, кто-то тут над ним глупые шутки шутит!..

Белое привидение тихо скользило по роще, удаляясь от него. Он бросился за ним, и оно, точно услышав погоню, ускорило свой бег и свернуло в сторону. Белая одежда замелькала между толстыми, черными стволами старых лип — и вдруг совсем пропала в густой тени деревьев...

Наливайко побежал наперерез тенистой чащей и выскочил на широкую, светлую поляну. Привидение несло прямо на него. На середине поляны, издав легкий крик, оно опять круто повернуло в сторону; ярким золотом блеснули в лунном свете взметнувшиеся от быстрого поворота желтые волосы.

— Марынка! — крикнул озадаченный неожиданностью Наливайко...

Это в самом деле была Марынка — босая, в одной рубашке. Она остановилась, испуганно озираясь по сторонам, потом вся вздрогнула и сделала слабое движение, как будто хотела бежать от него. Но силы, видимо, оставили ее, она не могла двинуться с места.

— То я, Марынка. Не бойся! — сказал Наливайко, приближаясь к ней.

Она узнала его и отшатнулась, жалко улыбнулась и с плачем упала к нему на руки...

— Чего ты голая, Марынка?..

Девушка плакала, ничего не отвечая. Она была вся холодная, озябшая, тело ее тряслось от лихорадки, зубы стучали.

— Бог с тобой, Марынка, ты совсем сумасшедшая!..

Он закутал ее в свою свитку и присел с ней на землю под деревом, держа ее на коленях, как ребенка. Марынка всхлипывала, жалобно, тоненьким голоском приговаривая:

— Ой, матынька-а!.. Ой, ридна моя-а!..

Потом она вдруг вся затряслась и обхватила его шею руками.

— Не пойду до Городища! — быстро зашептала она. — Там страшно! Не давай меня, не давай, не давай!..

— Та что ты, дурная? Та никому ж я не отдам тебя, Марынка!..

Девушка судорожно прижалась к нему и опять залилась слезами. Подождав немного, Наливайко спросил:

— Где ты была, Марынка?..

— То ж ты звал... — плача, сказала Марынка. — Я и пошла...

— Когда звал?.. Бог знает, что ты говоришь, Марынка!..

— А как же не звал? Я ж слыхала!..

— Тебе, может, приснилось, Марынка?

Марынка большими глазами посмотрела на него.

— Может и так... — тихо сказала она, задумавшись, с остановившимися глазами. — Приснилось?.. — она потерла себе лоб рукой. — Разве ж я в Городище не была?..

Она уставилась на него испуганными глазами, точно ожидая, чтобы он объяснил ей то, что с ней в эту ночь случилось. Наливайко нахмурился.

— Ты у Бурбы была такая... голая?..

Марынка снова заплакала.

— Я ж не знаю! Не знаю!.. — рыдала она, ломая пальцы. — Что ж это, Боже мой милый?..

Все это, конечно, было дело Бурбы: и то, что Марынка голая очутилась у развалин, и то, что она почти совсем сошла с ума и не помнила, что с ней было. «А, нечистая сила! — думал Наливайко, со злобой сжимая кулаки. — Поймай же, я с тобой расквитаюсь!..»

Марынка понемногу затихла; все реже вздрагивала ее грудь, уже уставшая от рыданий. Ею овладевала дремота. Она опустила на глаза веки с мокрыми от слез ресницами — и заснула, ровно, тихо дыша. Дрожь в теле унялась, со щек сошли пятна лихорадочного румянца, и лицо стало спокойно-бледным, как всегда...

— Пойдем до дому, Марынка, до неньки твоей! — сказал Наливайко, осторожно поднимаясь с нею с земли...

Марынка во сне сильнее прижалась к нему. Он быстро зашагал по лунной дороге к видневшимся вдали из-за холма серебристым верхушкам тополей Семибалки...

Недалеко от Черного става ему встретилась Одарка; она все еще ходила вокруг своей хаты и звала Марынку. Старуха с криком набросилась на Наливайко:

— Ты куда ж то увел Марынку, гайдамака проклятый! Чтоб тебе, анахвема, очи землей засыпало! Чтоб ты...

— Цыц, стара! — спокойно сказал Наливайко. — Марынка больная. Вон, посмотри! — он отвернул край свитки и показал, что девушка была в одной рубашке. — Чего пускаешь ее бегать так, не смотришь за дочкой?..

Одарка в изумлении ударила себя руками о бедра.

— От то ж наказание Божие мне с нею, та й годи!..

Наливайко внес девушку в хату и положил ее на постель. Марынка глубоко, сладко спала, и один уголок ее губ чуть заметно вздрагивал бледной, слабой улыбкой. Он так и оставил ее завернутой в его свитку.

— Пускай спит, не туркай ее, стара, — сказал он, уходя.

Одарка, выпроваживая его, сердито ворчала:

— Иди, иди! Добре, что самому не попало!..

Заперев за ним дверь, она вернулась к дочери и накрыла ее поверх свитки еще тканевым одеялом. Марынка вдруг зашевелилась и тихо спросила, не открывая глаз:

— То вы, мамо?..

— Я, дочка...

Девушка сдвинула брови и поморщила лоб, думая о чем-то. Потом снова спросила:

— А где ж Корнию, мамо?..

— Чего там еще надумала? — сердито сказала старуха.

— Спи! А то такого всыплю, что и думать про него не захочешь!..

Марынка тихо улыбнулась, положила руку под щеку — и снова заснула. Улыбка так и осталась на ее ярко заалевших губах...

Одарка пошла в кухню, где ворочался на скрипучей лавке старый псаломщик.

— У-у, анахвема, чертяка бессонная! — выругала она его мимоходом. — Всю душу вымотали, еще мало!..

Она легла на свой сенник у печки, зевая и бормоча с сердцем:

— Уже в домовине отдохну... как заховают...

В хати стало тихо и сонно...

Марынка спокойно спала до утра. Когда взошло солнце и заглянуло к ней в окно розовыми, светлыми, точно омытыми в утренней росе лучами, облив нежным теплом ее лоб и веки — она открыла глаза, приподняла голову, посмотрела кругом — и тихонько засмеялась. Хорошо проснуться и встретить летнее утро, потом опять положить голову на подушку и задремать в теплых лучах раннего солнца!..

Она вдруг увидела на себе, у самого подбородка, край свитки, от которой знакомо, приятно пахло полем, дорожной пылью, лошадьми, дегтем. Марынка потянула носом, жмурясь от удовольствия, потом прижалась губами к свитке, завела глаза под веки — и так и заснула, вся озаренная солнцем и своим первым девическим счастьем...

XV

Калека Родион

Встала Марынка когда солнце уже высоко стояло в небе. Старая Одарка встретила ее сердитым ворчаньем:

— Спишь, как панна какая! Уже люди пообедали, а ты только прокинулась!..

Марынка засмеялась. Ее тело точно было налито солнечной теплотой, в груди что-то радостно дрожало, щеко-тало. Она ничего не помнила, что было с нею ночью, и долго стояла над свиткой Наливайко, стараясь понять, как она попала к ней на постель, — но так ничего и не поняла. Она нагнулась к ней, потерлась щекой о ее жесткие вор-

синки — и засмеялась. Придет он — она его и спросит, зачем он закутал ее ночью в свою свитку. Вот и все!...

День был будний, а Марынка чувствовала себя совсем по-праздничному; ей даже захотелось одеться, как на праздник. Она открыла свою скриню, в которой хранилось ее приданое, вытащила оттуда белую полотняную рубашку, вышитую на груди, плечах и внизу широкой каймой из пестрых узоров крестиками, и надела ее поверх своего домашнего платья, подпоясав под грудью вышитым же пояском. Распустив волосы, она долго смотрелась в осколок зеркала...

Пришла Одарка с подоткнутым по-будничному грязным подолом, постояла у двери, глядя на новую причуду дочки, и ворчливо сказала:

— От так и пойдешь на улицу — в рубашки? А что люди скажут?..

Марынка нетерпеливо отмахнулась от нее рукой.

— Та не мешайтесь, мамо! От еще беда какая — люди!..

В этой рубашке видел ее прошлым летом один художник, от которого Марынка узнала, что так одевались украинские девушки в старину и что она в этом наряде похожа на кочубееву дочь Марию. Марынке это понравилось, к этой рубашке она почувствовала особенное уважение; она надевала ее редко, только в особенные минуты, и в ней она воображала себя дочерью богатого, владетельного князя Кочубея...

Она так до вечера и проходила в этом платье, поджидая Наливайко. Он пришел лишь на закате, когда солнце уже низко висело над кочубеевским садом. Наливайко был хмур и смотрел на девушку исподлобья.

— Какая ж ты красавица, Марынка! — утрюмо, с кривой усмешкой сказал он. — Лучше б я и не видел тебя!..

Девушка смущенно засмеялась, с довольным видом оглядывая себя.

— Я теперь не Марынка! — сказала она, откинув назад голову, отчего все волосы ее ярко заблестели, всколыхнувшись на плечах и груди. — Я — панна Мария Кочубей! Вот как!..

— Ты такая ж панна Мария, как я попадаья! — сердито сказала, выглянув из двери своим всегда злым лицом, Одарка. — Сором один, та й годи!..

Она тотчас же скрылась за дверь, и через минуту уже слышно было, как она кричала на свиней, остервенело взбавших у запертой калитки, которую они тщетно силились поднять рылами, чтобы пролезть во двор:

— Та цытьте, чтоб вам позатыкало!.. У-у, хвороба проклятуца!..

А Наливайко, глядя на Марынку, хмуро думал — была ли она ночью у Бурбы в Городище, — и от этого его лицо становилось все темнее...

Марынка подняла вдруг на него влажные, сияющие глаза и снова, еще больше смутившись, опустила их вниз. Так ясно, тепло, ласково она никогда не смотрела на него. У Наливайко даже задрожало что-то в груди и от сердца сразу как будто отлегло. Он тряхнул головой, словно хотел выкинуть из нее тяжелую думу, и сказал, глядя в сторону:

— Я за свиткой пришел...

— Зараз принесу... — пробормотала Марынка и бросилась в хату.

Там она взяла его свитку со скрини и прижалась к ней лицом, жадно дыша ее свежим полевым запахом; застыдившись самой себя, вся красная, она вынесла ее на улицу.

Наливайко взял свитку и вместе с ней — и руки Марынки. Она рук не отнимала, только отвернула лицо в сторону, заслонившись еще от него приподнятым плечом...

На семибалковской дороге в это время раздался глухой стук бубна, сопровождаемый тонким звоном бубенчиков. Там показалось густое серое облако, в котором, по мере его приближения, стало вырисовываться странное существо, непонятно, нелепо катившееся с холма и вздымавшее своим необычным движением целую тучу дорожной пыли...

Наливайко тряхнул руки Марынки и засмеялся. Он уже был совсем доволен: видно было, что Марынке не так уж неприятно, что он взял ее руки, а у такой гордой девушки, как она — и это уже много! Но бубен звучал уже совсем близко, Марынка потянула назад свои руки — и он выпустил их.

— Го-го! — раздалось с семибалковской дороги, из облака пыли.

— Га, Родивон! — весело крикнул Наливайко. — Здорово!..

— Эге! То ж таки я! А как же! — отвечало из тучи пыли странное существо, с невероятными усилиями, но довольно быстро ковыляя на своих искривленных, с вывернутыми назад ступнями, высохших и негнущихся ногах. — Здравствуйте! Узнали —го- го — Родивона?

— Как не узнать? — засмеялся Наливайко. — За версту видно!..

— Эге ж! Таки видно! — согласился Родион. — А как же! Таку закорюку —го-го —из Конотопа забачишь!..

Он добрался до крыльца и сразу рухнул на землю, так как держаться на ногах мог только при движении, на быстром ходу.

Это был мужчина лет сорока, с круглым, здоровым, красным лицом и веселыми смеющимися голубыми глазами под нависшими густыми бровями. Подстриженные, как у многих хохлов, усы у него торчали под бульбообразным носом жесткой щеткой, бритые щеки и подбородок также были покрыты колючей седоватой щетиной. Тело у него было широкое, крепкое, волосатые руки огромной силы могли бы с честью принадлежать какому-нибудь великану; и только его несчастные, никуда не годные ноги делали и все здоровое тело и сильные руки его тоже никуда не годными и заставляли его влачить жалкое существование нищего, побирушки, питающегося подаваемыми из жалости и ради спасения души крохами.

Родион был калекой от рождения, и, к его счастью, мудро справедливая в своей целесообразности природа наделяла его младенческим слабоумием, оставшимся у него и в зрелом возрасте, благодаря чему он не видел никакого несчастья в своем уродстве и, казалось, даже совсем не замечал его. Он был всегда весел, жизнерадостен, жил, как птица небесная; никогда ничем нельзя было ни огорчить его, ни обидеть, ни рассердить. Изредка только он плакал, ко-

гда ему причиняли физическую боль, как скулит собака, когда ее больно ударят...

И такое убогое существо, как это ни странно, было одержимо необыкновенной жадой женской любви, ласки; он сватался ко всем женщинам, какие только встречались на его пути, всюду, конечно, получая отказы с насмешками и издевательствами. Но он не унывал и не терял надежды обзавестись «доброй жинкой».

— А как же! — говорил он, заливаясь веселым тоненьким смешком. — Как же без жинки? Нужно же человеку жинку!..

Каждой девушке он серьезно говорил:

— Дивчинко, а чи не пойдешь за меня замуж?..

И добродушно упрашивал и убеждал:

— Та выходи же за Родивона! Чем я не человек?..

Он искренне полагал, что он ничем не хуже других и мог быть отличным «чоловиком», то есть мужем. То, что ни одна девушка не соглашалась выйти за него — насколько не разубеждало его в этом, хотя многие из них и говорили ему прямо, со свойственной молодому эгоизму жестокостью, что такой калека, как он, в мужья совсем не годится. Он этому просто не верил.

— Балакают себе для смеху, го-го-го.. — махал он в таких случаях рукой, заливаясь и захлебываясь счастливым детским смехом...

Усевшись около крыльца па земле и подвернув под себя закорюки-ноги, он тотчас же поднял свой бубен и забабанил по нему пальцами, склонив набок голову и с ребяческим удовольствием прислушиваясь к заливчатому звону бубенчиков.

— Ось бачите, какую я музыку сделал! — сказал он, радостно оскалив крепкие белые зубы. — Как же! Сам и сделал! Гарно играет. Ось, послушайте!..

Бубенчики, в самом деле, были подобраны с знанием дела и звенели очень гармонично. На широком, коричневом от загара лице Родиона сияла самая блаженная улыбка.

Поиграв немного, он опустил бубен на колени и стал рассказывать, прерывая сам себя смехом:

— А хлопцы в Мартыновцы — го-го — хотели отнять у меня музыку! А я им не отдал — го-го — бо мне и самому нужно! Еще и сказал им чертова батька! А как же! Го-го-го!..

Тут он обратил внимание на Марынку, присевшую на ступени крыльца. Он снова поднял бубен, ударил в него и радостно крикнул:

— Здорово, дивчинко! Я тебя и не приметил. Какая ж ты гарная, и не дай Боже!..

— Здравствуй, Родивон! — отвечала Марынка с улыбкой. — Давно тебя не слышно у нас было...

— Эге ж, таки давно... — согласился Родивон. — Как же! Я и то думал, чи не соскучились тут по Родивону. От то я й примандрував!..

— А что, Родивон, — спросил Наливайко, — ты еще не женился?

Родивон отрицательно помотал головой.

— Ще... — сказал он, ослабившись. — От как жито в копны соберут — тогда и женюсь!..

— А невеста есть?

— Та нема! — и он убежденно прибавил:

— Будет!..

— А ты не сватался к дивчине, что в кочубеевской хате?

— Та сватался...

— Что ж она сказала?

— Та ничего. Ты, говорит, поганый, и я за тебя не пойду, о-го-го-го-го!...

Он даже откинул назад голову от смеха, похожего на лошадиное ржанье.

— Так и сказала?

— Эге ж. А как же!..

— А ты что?

— А я — если, говорю, поганый, так ты еще поганей! Го-го-го!..

— А что ж ты не посватаешься до этой дивчины? — Наливайко показал ему на Марынку. — Самая гарная дивчина!..

Родион посмотрел на Марынку, как бы соображая, стоит ли делать ей предложение, потом серьезно, про себя, сказал, с сожалением почесав в затылке:

— Та гарна, как же!..

Марынка тихонько засмеялась и спросила, лукаво сощурив глаза:

— Что ж, Родивон, разве я тебе не гожусь в жинки?..

— Та ни...—сказал Родион в видимом затруднении. — В самый раз... Только не можно...

— Не нравится? — спросил Наливайко.

— Дуже нравится, ге-ге-ге... — засмеялся Родион, сделав сладкую физиономию.

— Так и посылай сватов!..

Родион снова посмотрел на Марынку, потом перевел глаза на Наливайко и, хитро сощурившись, объяснил:

—Тебе ж самому нужно. Как же! Разве ж я не знаю!..

И он громко, раскатисто засмеялся, радуясь своей догадливости...

Марынка застыдилась и отвернулась, чтобы спрятать свои ярко заалевшие щеки; Наливайко же в смущении снял с головы свой бриль, посмотрел внутрь его, потом снова накрыл им голову, надвинув его на самые глаза. А Родион, оглядев их обоих, вздохнул и сказал словно про себя:

— От то ж я и говорю, что не можно. А как же! Я ж вижу, что дивчина уже засватана!..

Он сунул за пазуху бубен и стал подниматься на своих закорюках, упираясь рукой в землю.

— Ну, я уже пойду! — сказал он, кряхтя от усилий...

Едва встав, он тотчас же быстро заковылял и уже на ходу крикнул:

— Бувайте здоровеньки, диты! Еще приду на весилля...

Густое облако пыли скрыло его из виду...

XVI

Жидовка-выхрестка

С уходом Родиона лицо Марынки вдруг стало белым, как ее рубаха, даже красные губы ее побелели, точно сплыли с лица. Замечание Родиона о «весилле» — свадьбе привело ей на память вчерашнее сватовство Скрипицы, и перед ней вдруг, точно в тумане, встало темное подземелье Городища и рыжий Бурба с его злыми глазами и волчьими зубами и конотопская дорога, по которой она бежала босая, в одной рубашке, не помня себя от страха. Что это такое было?..

Она вся съежилась, глаза ее широко раскрылись, и она испуганно посмотрела на Наливайко. Он заметил происшедшую в ней перемену.

— Что ты, Марынка?

Его лицо снова потемнело. Такой бледной и растерянной Марынка была ночью, когда он поймал ее в роще у развалин. Он нахмурился, — опять полезло в голову, что она ночью, может быть, была у Бурбы в Городище...

Марынка смотрела на него точно невидящими глазами и молчала. Потом она отвернулась и уставилась на Черный став, наморщив лоб, сдвинув брови...

Солнце уже совсем спряталось за садом, и там, где оно только что стояло — горели ярким вечерним светом неведомо откуда взявшиеся легкие, прозрачные облака; точно они до сих пор прятались где-то и только ждали ухода солнца, чтобы тотчас же выйти и засветиться, заалеть его последним уходящим светом.

А Черный став становился все темнее и темнее, сливая отражения столетних деревьев кочубеевского сада в одну сплошную черную тьму. На берегу стояли и серебристые осины и светлолистые вербы — а там, в глубине воды — все было черно, и над этой мрачной, зловещей чернотой медленно поднимались клочья серого тумана, словно сама лихоманка, злая, косматая, высывала из темной, застояв-

шейся воды длинные руки с костлявыми, сведенными судорогой пальцами и свою страшную голову с разметавшимися во все стороны седыми, безобразно взлохмаченными волосами...

И сама Марынка в надвигающихся сумерках, у этой черной, тускло блестевшей сквозь белесую муть тумана воды казалась какой-то нездешней, с ее белым, точно мертвым лицом и большими, глядевшими куда-то мимо всего глазами. Она тоже как будто вышла из Черного става, и от нее веяло такой же таинственностью, как от этой непроглядной, неведомо что скрывавшей в своей глубине черной воды.

«И правда — совсем как панна Мария», — подумал Наливайко, искоса глядя на нее. Ему даже стало жутко...

Марынка вздрогнула, как будто почувствовав на себе его взгляд, и зябко повела плечами.

— Холодно... — сказала она, указывая глазами на став...

Оттуда все ближе, клочьями, надвигался серый туман; казалось, чьи-то цепкие руки тянулись к Марынке, сжимая и разжимая когтистые пальцы...

— Иди в хату, Марынка! — крикнула ей Одарка из сеней. — Лихоманка идет!..

Марынка уже вся дрожала мелкой, лихорадочной дрожью. Она вся съежилась от сырости под своей тонкой, повлажневшей рубашкой.

— Уже пришла... — сказала она упавшим голосом, слабо пошевелив бледными губами...

Она посмотрела куда-то в сторону так, словно перед ней и вправду стояла сама Лихоманка. Там, из узкой улочки, в самом деле кто-то вышел, сначала и разобрать нельзя было, что это было за существо. Что-то черное, лохматое, кошмарное подобие женщины, в невообразимых отребьях, из которых вылазили наружу покрытые коричневым загаром и грязью иссохшие груди, худые тонкие руки и ноги с костлявыми коленями и скрюченными пальцами. Под шапкой распатланных и сбившихся в войлок волос дико блестели большие сумасшедшие глаза, страдальчески кривились лиловые губы. Женщина издала какой-то звук, как

будто что-то сказала, но отдельных слов нельзя был разобрать в этом коротком, нечленораздельном вое. Наливайко узнал ее: он встречал ее несколько раз в разных селениях и на дорогах.

— То Любка, жидовка-выхрестка! — сказал он Марынке, смотревшей на нее с суеверным страхом. — Чего ты пришла, Любка?..

Страшная женщина посмотрела на него, что-то промывчала — и вдруг, подняв над головой руки, пронзительно закричала:

— Борах ату Адонай!.. Лыхо у хати, лыхо!..

Она изогнулась и придвинулась к Марынке, потрясая перед ее лицом кулаками, вся судорожно подергиваясь:

— В домовину, несчастна!.. Шма Израэль!.. О-о-о!..

Она сорвалась с места и побежала по дороге к Семибалке, оглядываясь дико, как у кошки, блестящими глазами...

Марынка давно знала Любку и ее ужасную историю. Эта несчастная женщина была дочерью благочестивых евреев, ее отец был шойхед (резник) — лицо в некотором роде духовное у евреев. Имя ее раньше было — Лея. Родители собирались выдать ее замуж за сына таких же благочестивых евреев, но она влюбилась в христианина, волостного писаря, крестилась и повенчалась с ним, и этим навлекла на себя проклятие родителей, которые отреклись от нее, решив забыть, что у них была дочь.

Лея, после крещения Люба, не была счастлива со своим писарем и одной недели. И евреи батуринские, и христиане склонны были думать, что тут оказало свое влияние родительское проклятие, которое ни для кого, по их глубокому убеждению, даром не проходит. Как бы там ни было, но Любка с первых же дней своего замужества увидела, что писарь вовсе не такой человек, каким она себе его представляла. Женитьба писаря на еврейке вызвала в Батурине скандал, поставивший его в неприятное положение человека, на которого все указывают пальцами. Недалекому и грубому парню трудно было с этим помириться. Он не мог простить девушке того, в чем она меньше всего была виновата.

та — что она родилась еврейкой. Попрекая ее этим, он скоро от слов перешел к побоям, к зверским расправам, которые с каждым днем становились все более дикими и жестокими. Любка долго терпела, покорно переносила истязания, которые считала справедливым возмездием за свой грех перед отчей верой и родительским домом. Но спустя полгода ее душа, вечно трепетавшая от страха, заболела, и ее рассудок помутился. Однажды ночью, глубокой осенью, избитая, истерзанная пьяным писарем, она убежала от него и, не зная, где найти пристанище, постучалась в дверь родительского дома. Ее родители, чтобы навсегда порвать с изменницей-дочерью и связанным с ней скандалом и позором, незадолго до этого выехали из Батурина — и она тщетно стучалась в пустой дом...

И вот — замученная, полупомешанная, отвергнутая евреями и христианами, молодая женщина осталась на улице, предоставленная самой себе, как шелудивая бродячая собака. Ей даже милостыни не хотели подавать в Батуринах, и она принуждена была бродить по соседним деревням, где ей бросали кусок хлеба только для того, чтобы она поскорей ушла.

Писарь спился и умер от белой горячки, и после этого Любка стала изредка приходить в Батуринах. Она потеряла последние крохи своего несчастного, потрясенного горем и мучениями рассудка, но каждый раз, когда ей случалось бывать в Батурине, она шла к родному дому, движимая чисто животным чувством, какое тянет зверенышей к родному логовищу, и долго с плачем и воем стучалась в его заколоченные окна и двери...

Сумасшедшие в малороссийских деревнях считаются провидцами, в непонятных речах которых кроется какой-то таинственный смысл. Они — не такие, как все, они иначе думают, говорят, и то, что их здоровым людям трудно, а иногда и вовсе нельзя понять — ставит их в особое положение, точно они углубились в какие-то тайники жизни, недоступные другим, и знают то, чего не может знать не сумасшедший. Любка к тому же была еще особенной сумасшедшей — умудренной, кроме христианской, еще и ев-

рейской верой с ее древними обрядами и непонятным даже для многих евреев языком. То, что она, в своем сумасшедшем бреде, часто произносила слова из древнееврейских молитв — делало ее страшной, как бы владеющей тайнами человеческих судеб; казалось, она обладала силой накликать на людей беды и несчастья Бог знает кем и когда созданными, жуткими словами, производившими впечатление колдовских заклинаний...

Ее дикие крики показались Марынке страшным пророчеством. Предсказание сумасшедшей Любки было совершенно ясно: Марынке угрожала скорая смерть. Дрожа от лихорадки, уже завладевшей ее слабым телом, она закрыла рукавом рубашки глаза и заплакала. Любка сказала: «в домовину» — а Любка даром таких слов не говорит, это уже хорошо все знают!..

Марынка опустила на нижнюю ступеньку крыльца и, согнувшись, плача, уткнулась лицом в колени. Наливайко сел рядом с нею и угрюмо молчал. «По всему видно, — думал он, — что была в Городище!..»

Он вздохнул, покачал головой.

— Эх, Марынка! — сказал он, — и махнул рукой; потом огорченно прибавил:

— Иди лучше в хату, та ложись...

Марынка вдруг порывисто обернулась к нему и обвила его шею руками. Слезы ручьями бежали у нее по лицу. Она проговорила, плача:

— Страшно помирать... Ой, как страшно!..

Наливайко хмуро пожал плечами.

— Та что!.. — буркнул он. — Любка ж сумасшедшая, брешет себе, что в голову влезет...

Он посмотрел искоса на ее руку, лежавшую у него на плече. Такие белые, нежные руки бывают только у барынь и молодых панночек, которые не делают никакой тяжелой и черной работы. Марынке пристало бы быть барыней с такими руками...

— Что это у тебя, Марынка? — сказал он, сняв ее руку с своего плеча и поворачивая ее вверх ладонью. — Чем-то ты зашибла?..

Марынка подняла голову, посмотрела на свою руку — и в ее глазах блеснул невыразимый ужас. С глухим вскриком она отдернула назад руку и быстро спрятала ее за спину. Так и есть — как раз три пятна у самой кисти: два рядом — от указательного и среднего пальцев и против них — одно побольше, от большого пальца, врезавшегося в кожу ногтем и оставившего на краю узкую полукруглую ссадину. Значит, она в самом деле была в Городище, и это у нее на руке остался синяк от пальцев Бурбы?..

Наливайко понял, отчего она так испугалась.

— Ты была у Бурбы? — спросил он глухо, глядя себе в ноги.

Марынка не глядела на него и молчала, сжимая пальцами руку в том месте, где был синяк. Наливайко настойчиво требовал ответа:

— То от Бурбы? Так, Марынка?..

Он тронул ее за плечо. Марынка судорожным движением сбросила его руку и порывисто встала.

— Чего пристал? — сказала она с сердцем, выпрямившись и откинув назад голову. — Может, и от Бурбы! Так что?..

Наливайко увидел прежнюю — недоступную, надменную Марынку, только в ней теперь было что-то скорей похожее на отчаянье, чем на гордость. Ее глаза гневно блестели, а губы дергались и кривились, точно она собиралась заплакать. Он тоже поднялся.

— А то! — сказал он мрачно. — Теперь ты порчена...

— А? — сказала Марынка, смертельно бледнея. — Ну так и не надо!.. — она вдруг вся задрожала, затопала ногами, иступленно закричала:

— Убирайся! Убирайся отсюда!.. И не приходи больше! Никогда! Ни... ни... — громкие рыдания вырвались у нее из груди:

— Ой, мамо! Мамо!..

Она с плачем взбежала по ступеням крыльца и скрылась в хате, с треском захлопнув за собой дверь...

XVII

Переезд

Ни Одарка, ни псаломщик не могли добиться толку от Марынки. Она только плакала и упрямо повторяла:

— То моя пришла за мною... Везите меня отсюда, тату!..

Старый Суховой недоуменно почесывал в своей длинной седой бороде.

— Бог с тобой, дочка, разве ж так можно?.. Жинко, где мои окуляры?..

Одарка подала ему его железные, связанные веревочкой очки, без которых он не мог разговаривать; он напялил их на нос и снова стал утешать Марынку:

— То ж твоя родная хата, дочка, как же ее покинуть? Выйдешь замуж — ну тогда с Богом. А то грех и думать...

— Не пойду я замуж! Не хочу!.. — закричала Марынка, заливаясь словами. — Он душегуб, разбойник!.. Не пойду-у-у!..

Она вся забилась на скамейке с искаженным от страха лицом...

— Тю, скаженна! — удивилась Одарка. — Та про кого это ты сгадала?..

Марынка не слушала ее и кричала:

— Ой, боюсь!.. Ой, везите меня швыдче, тату!..

— Куда ж тебя везти, дочка? — развел руками псаломщик. — Разве в Конотоп, к тетке Паране, чи в Мартыновку, к куме Довбне?..

— От еще выдумал! — обозлилась на него Одарка. — В Конотоп! Может, еще в Киев надумаешь?.. Добре буде и на млыну у дида Тараса?..

— И то... — согласился Суховой. — Хочешь, дочко, до дида Тараса?..

Марынка уже затихла и только беззвучно лила слезы.

— Куда хотите, тату... Только зараз... Я... не могу...

— Зараз так зараз... От еще горе!..

Псаломщик, кряхтя, пошел во двор запрягать свою сивую кобылу в фуру. Марынка, не переставая тихо плакать, собрала в узелок кое-какие вещи — две-три рубашки, плахту, передник, завернулась в материнскую шаль и вышла к отцу во двор.

Там уже все было готово к отъезду и псаломщик сидел на возу. Марынка молча забралась на фуру, прикорнула в углу на сене — и лошадь тронулась. Одарка провожала их, стоя в дверях хаты.

— Прощайте, мамо! — сказала Марынка плача, точно навсегда прощалась с матерью и родным домом.

— Та чего! — сердито отозвалась старуха. — Дуришь, не зна что!..

Длинная, неуклюжая, скрипучая фура выкатилась за ворота и, обогнув став, мягко затарахтела по пыльной дороге...

В узких улицах Батурина уже все спали, хаты стояли темные, насупленные под соломенными крышами, похожими на лохматые шапки. Только на широкой главной улице, где была скучена в одной части ее вся батуринская торговля, горел огонь в лавке еврейки Стеси, и в шинке Стокоза шумело несколько человек, которых, несмотря на поздний час ночи, шинкарь никак не мог выпроводить за дверь.

Шинок Стокоза привлек внимание Суховея: хорошо было бы на дорогу пропустить шкалик-другой горилки! Поддавшись искушению, он причмокнул губами и дернул было вожжей, сворачивая лошадь к шинку, — но тотчас же, совестясь дочки, снова выправил кобылу на дорогу. Марынка сидела в углу фуры неподвижно и, казалось, спала под материнской шалью, закрывавшей ее всю, с головой и ногами; старик искоса посмотрел на нее — и решительно повернул лошадь к Стокозу.

Девушка вдруг спросила:

— Куда вы, тату?..

— Та тут... — смущенно пробормотал псаломщик. — Нужно слово сказать...

Подкатив к шинку, он молча слез с фуры и исчез за пронзительно завизжавшей на блоке с привязанным к веревке кирпичом дверью...

В шинке сидели, допивая штоф водки, колбасник Синенос, Скрипица, чернобакалейщик Кривохацкий и фельдшер Гуца. Они громко и дружно приветствовали Суховея:

— Го-го-го! Здорово! Садись с нами! Стокоз еще даст горилки, матери его бис!..

Синенос, уже совсем пьяный, с расцветшим всеми цветами радуги носом, налил Суховею водки, а сам затянул:

Ой выпьем, куме,
Добре горилку —
От понидилку
До понидилку...

— Не так... — сказал, икая, фельдшер Гуц — толстый, жирный, с круглым свинообразным лицом, с которого уныло свешивались вниз, на вышитую сорочку, длинные запорожские усы, омоченные горилкой. — От так:

Ой выпьем, куме, тут,
Бо на тим свити не дадут.
А хочь дадут, хочь не дадут —
Выпьем краще, куме, тут!..

Скрипица уже не ворочал языком и потому ничего не мог сказать, только промычал что-то, стащил со своей лысой головы изодранную баранью шапку, нагнулся и со всей силы хлопнул ею о земляной под.

Это, однако, не произвело никакого впечатления. Он поднял свою шапку, нахлобучил ее до самого носа и в раздумье поклевал над столом; потом вытащил из-под свитки скрипку, попиликал на ней немного — и грустно сунул ее под мышку: ничего не выходило...

Суховой подсел к столу, выпил стаканчик и другой. Синенос одобрительно хлопнул его по плечу.

— Добре, Суховию! От что добре, то добре!.. Только за бабами своими доглядай, а то и не заметишь, как жинка або дочка ведьмой перевернется...

— А то и самой чертякой! — добавил Кривохацкий, сам похожий на «чертяку» со своей черной бородой, которая росла у него почти до глаз, и перебитым на середине носом.

— То ж я и говорю! — продолжал колбасник, довольный, что попал на свою любимую тему. — С бабами надо очи та очи! Твою Марынку я уже видал, как она...

Он вдруг остановился и так и остался с раскрытым ртом: дверь на блоке взвизгнула и в шинок просунулась голова Марынки.

— Та идите уже, тату! — сказала она плачущим, капризным голосом. — Годи вам тут балакать!..

Ее неожиданное появление и как раз в тот момент, когда Синенос произнес ее имя — вызвало среди собеседников переполох; они все невольно поддались назад и смотрели на нее с таким страхом, как будто перед ними стояла сама нечистая сила. Только Скрипица угрюмо отвернулся, как отворачивается кошка, когда ее тыкают мордой в стянутый ею кусок мяса..

— То моя Марынка! — объяснил псаломщик. — До порскалова млыну со мной едет...

На это никто ничего не сказал. Заметно было, что о Марынке знали что-то дурное. Суховой досадливо почесал в бороде: что-нибудь уже набрехали люди, иди теперь разбирайся!..

Ему лень было расспрашивать, — и так обойдется; потолкуют да и перестанут. Он допил свой стакан, вытер рукавом свитки усы и бороду и смущенно сказал:

— Ну, так и то... Спасибо за угощение!..

И он вышел, пошатываясь, на улицу...

Над Батурином уже поднималась луна, и через улицу легли широкие темные тени от домов и деревьев; ярко белелись на одной стороне улицы освещенные луной стены домов, мазанные мелом. На Сейме заквакали с восходом луны лягушки...

Марынки в фуру не было слышно; она притаилась под своей шалью в углу гарбы. Она заметила, как все в шинке ее испугались, — значит, в Батурине уже говорили о ней. Но что люди могли говорить?..

Она мучительно думала, стараясь вспомнить, что с ней было прошлой ночью, и не могла разобраться — что там было на самом деле и что ей снилось. Если она была у Бурбы — то должна была бы помнить, как попала туда; если это было только сном — то откуда у нее этот страшный сияк от чьих-то сильных, злых пальцев?..

У нее голова шла кругом, сердце холодело от страха. В том, что с ней случилось — ничего нельзя было понять. Самое страшное в человеческой жизни — это то, чего никак нельзя объяснить, что невозможно подвести ни под какое обыкновенное явление. Марынка совсем растерялась; ей становилось страшно самой себя: ведь она может Бог знает что еще сделать, сама не зная об этом!..

— Чи ты тут, дочка? — окликнул ее Суховой, влезая на передок.

Старик заглянул в фуру. Марынка сидела в том же углу, свернувшись в клубок, и смотрела на него большими неподвижными глазами, дрожа под шалью всем телом...

Псаломщику было не по себе: не надо было заезжать в шинок Стокоза!.. Он смущенно крикнул и сказал самому себе:

— Брежут люди спяну, Бог с ними совсем...

Застоявшаяся кобыла быстро побежала вниз под гору, к Сейму, и фура затарахтела и завизжала немазанными колесами на весь Батурин. Мелькнули последние хаты с садами и старыми, широкими вербами — и сивая кобыла выкатила гарбу на деревянный мост, перекинутый через приток Сейма — Ровчак. Какой-то высокий человек посторонился на мосту и, остановившись, пропустил лошадь мимо себя. Марынка, взглянув на него, вдруг вскрикнула, метнулась к отцу и вцепилась руками в его свитку. Позади гарбы, несмотря на ее визг и грохот, ясно послышался низкий, гудящий смех, похожий на бляенье старого барана.

— Тату, тату! — вне себя от ужаса пробормотала Маринка — и без чувств повалилась на дно фуры...

Псаломщик придержал лошадь.

— От беда с дивчиной! — недоуменно сказал он. — Та чего ты, дочка, злякалась?..

Марынка лежала неподвижно и, казалось, вовсе не дышала. Суховой потрогал ее голову и плечи — беспомощно развел руками. Довезти бы ее скорей до мельницы — может, у деда найдется какое-нибудь снадобье...

Он огорченно хлестнул лошадь, оставив девушку лежать на дне фуры...

У Сейма пришлось долго ждать парома. Старик кричал с берега:

— Гей-гей! Давыдко!.. Давай паро-о-ому!..

А Марынка лежала в гарбе и не шевелилась, как мертвая, с белым лицом и закрытыми глазами. Псаломщик пробовал ее окликать:

— Дочко, чуешь?... А не дай Боже!..

Девушка не подавала никаких признаков жизни...

Суховой снова принимался звать еврея Давидку, арендовавшего паром, оглашая в сумраке ночи тихую реку и пустые спящие берега:

— Гоп-гоп!... Паро-о-ому!

Наконец с того берега послышался отклик:

— Вже-е-е! Даю-у-у!..

От противоположного берега отделилась и тихо поплыла большая темная масса, похожая издали на гигантского жука. Суховой взобрался на передок гарбы и молча ждал. Ждала и его кобыла, широко расставив ноги, осторожно перебирая ушами и разумно глядя на приближавшийся, уже давно знакомый ей паром, на котором она часто переезжала Сейм, переправляя на фуре с полей золотые снопы жита и обратно — уже вымолоченное зерно в мешках — на мельницу деда Порскала...

— То вы, пан Суховой? — послышался тонкий, скрипучий голос с подходившего к берегу парома. — В такой поздний час?.. Я уже помолился нашему еврейскому Богу и до сна собирался. У вас что случилось?..

— Дочка заболела...

— Куда ж вы ее везете?

— До дедова млына...

— Как же можно! Надо до доктора везти, в Конотоп, або хоть в Красное...

— Та что!.. — лениво отозвался старик. — У ней от ставка лихоманка, так на млыну, может, и так разойдется...

Паром причалил, и кобыла сама, без понукания, тронулась и взошла на него, втащив за собой фуру. Худой, тщедушный еврей в большом старом котелке, надвинутом на уши так, что они согнулись и торчали в обе стороны, заглянул в фуру и соболезнующе покачал головой.

— Ай-я-яй! — сказал он, делая огорченное лицо. — Такая гарная дивчина — и совсем-таки больная!.. Вы бы, пан Суховий, хоть Гушу позвали. Он себе что-то маракует...

— Обойдется и без Гуши...

— Ну, дай Боже...

Давидка ухватился за канат и потянул его со всей силой своего тщедушного тела. Паром медленно отчалил и поплыл...

— А что я вам скажу, — заговорил снова Давидка, оставив канат. — Только-только я перевез пана Бурбу, что Чертово Городище купил. Ай, какой богатый мужик! Гроши в кишени так и бренчат...

— Та богатый... — нехотя, равнодушно отозвался Суховей, разморенный выпитой у Стокоза водкой. — Только люди говорят...

— Не верьте, пан Суховей! — быстро перебил его Давидка. — То все сказки...

— Я и то думал, что брешут...

— Люди — как собаки: кто молчит — на того и гавчут...

— Эге ж...

Давидка снова потянул канат и заговорил, кивнув на неподвижно и безмолвно лежавшую в фуре Марынку, понизив голос:

— А что я вам еще скажу, пан Суховей! Пан Бурба меня все выспрашивал о вашей дивчине — чи не знаю я, какая она, может, гуляет с кем у Сейма, чи еще где. Так я ему ска-

зал, что Боже сохрани! Такую честную дивчину поискать, так не найти...

Суховой молча кивнул головой и ждал, что дальше будет. А Давилка продолжал, заискивающе заглядывая ему в лицо:

— Вот бы вам, говорю, пан Бурба, добрая жинка была б! Лучше и не надо... А пан Бурба устремил на меня свои очи, та и бурчит: «Не отдаст ее за меня псаломщик!..» — Чего ж, говорю, не отдать? Вы, пан Бурба, жених — хоть куда! Наперед можно сказать, что пан Суховой не поднесет вашим сватам гарбуза... «Ну, побачим!» — сказал пан Бурба, — и дал мне за перевоз аж целый злот!..

Давидка тихо засмеялся, обнажив длинные желтые зубы, и прибавил, потирая руки:

— Так что, пан Суховой, теперь сватов ожидайте!..

«Вот оно что! — подумал псаломщик. Марынка уже Бурбу подцепила, а я ничего и не знал! Скажи на милость!..»

Он, однако, ничего не сказал Давидке и, съезжая с приставшего к берегу парома, молча сунул ему в руку семишницу. Давидка низко поклонился, пряча деньги куда-то в заднюю полу своего длинного, до пят, сюртука.

— Будьте здоровеньки, пан Суховой! Дай Боже вам и вашему семейству счастья та здоровья!..

Телега снова покатила — теперь уже берегом Сейма, и скоро послышался шум падающей с плотины воды и свежий шелест старых верб, осенявших мельницу своими длинными пушистыми ветвями со всех сторон...

Псаломщик долго стучал в окно мельницы, пока, наконец, открылась тяжелая дверь и из нее вышел мельник — сгорбленный старик с позеленевшей уже бородой, совершенно лысый, одетый в белые холщовые рубаху и штаны. Это был дед Марынки, отец Одарки — Тарас Порскала. С его помощью Суховой перенес все еще бесчувственную девушку в комнату деда, отгороженную в самой мельнице досчатой стеной, где вкусно пахло, как и во всей мельнице, свежей ржаной мукой...

Марынка как будто только и ждала, чтобы ее положили на постель любимого деда — и тотчас же пришла в себя.

Увидев склонившегося к ней старика, она потянулась к нему и обняла его.

— Дидусю, милый... — сказала она, припав к нему — и расплакалась...

Дед тихо гладил ее по голове и молчал, давая ей выплакаться...

Марынка плакала недолго. Затихнув, она устало опустила голову на подушку и незаметно заснула...

Суховей, «побалакав» немного с дедом, поехал домой. А старый дед долго еще не ложился и, как домовый, блуждал с тоненькой восковой свечкой по мельнице, что-то осматривал и поправлял. Потом он молился в своей комнатке перед черным ликом неведомого святого и усердно клал земные поклоны. Марынка открыла глаза, посмотрела на молящегося деда и улыбнулась, почувствовав себя маленькой-маленькой девочкой, за которую молился дед Тарас. Она снова закрыла глаза и так с улыбкой и заснула...

Только ко вторым петухам дед утомился, улегшись на лавке под образами...

XVIII

Первый шаг к знакомству

Вопрос, так интересовавший батуринцев — что будет делать в своем Городище Бурба — внезапно получил разрешение. Однажды в субботу, когда в церкви окончилась вечерняя служба и народ вывалил на площадь — Бурба, усердно выстоявший всю службу, также вышел со всеми из храма, но не пошел тотчас же домой, как он это делал раньше, а вmeshался в толпу и стал здороваться то с тем, то с другим, двигая в знак приветствия со лба на затылок и обратно свою богатую, из сивых мерлушек, шапку. Он говорил, криво, слегка презрительно усмехаясь:

— Здравствуйте, люди добрые!.. От то ж пришло время познакомиться...

Добрые люди были ошеломлены такой неожиданностью и не знали, как принять это знакомство с человеком, который до сих пор никого не хотел знать. И хотя они все были враждебно настроены к Бурбе, но никому из них и в голову не пришло не ответить на его приветствие: хохлы очень вежливый народ. Они тоже двигали на голове шапку и любезно отвечали:

— А здоровы булы!..

Бурба не стал, однако, с ними долго разговаривать и сразу приступил к делу. Такой человек, как Бурба, понапрасну слов не тратит и, если он подходит к незнакомым людям — значит, у него есть к ним дело. А дело это заключалось в том, что он устроил у себя в Городище корчму и хотел, чтобы у него сегодня, по случаю ее открытия, были гости из «найважнейших» жителей села Батурина. Это было очень любезно с его стороны, и «найважнейшие» жители не сочли возможным ответить ему отказом на это приглашение...

После этого Бурба ушел, а батуринцы долго еще толклись на церковной площади, обсуждая это событие на все лады. Многие подозревали в этом какой-то подвох, другие склонны были видеть в предстоящем пиршестве просто задабривание со стороны Бурбы, которому нужно было для своей корчмы завести сношения с селом; третьи же прямо говорили, что тут дело добром не кончится и что от Бурбы можно ожидать такого, чего сразу и не придумаешь...

Однако, ни один из приглашенных не думал отказываться от хорошего угощения, а что Бурба хорошо угостит — в этом все были уверены. Еще солнце только думало опуститься за кочубеевским садом — а из Батурина по конотопской дороге уже потянулись к Мазепову Городищу целые вереницы серых свиток вперемежку с пестрыми плахтами и бархатными кирсетками. Больше всех спешили попасть в Городище, как это ни казалось странным, все те, которые не ждали добра от бурбиного пиршества; а позади всех плелись Синенос и Скрипица. Эти двое шли как на закланье, трепеща от страха: они были уверены, что идут на гибель. Но как было не пойти, когда там предстояла хо-

рошая выпивка? Против этого нельзя было бы устоять даже в том случае, если бы они знали наверное, что им придется сложить в Чертовом Городище свои буйные головы...

Бурба, между тем, самолично еще зашел к псаломщику Суховею, чтобы пригласить и его, со всем семейством, к себе на пир. Старик был очень польщен его посещением, тем более, что он не забыл о своем разговоре с паромщиком Давидкой. Он посадил гостя в угол под образами и без толку суетился по хате, разыскивая свои «окуляры», без которых не мог «балакать», не зная, что сделать, чтобы лучше принять гостя. Выбежав в сени, он закричал своей старухе, возившейся в другой половине хаты у печи с ужином:

— Одарко! Та иди сюда, жинко, посмотри, какой у нас гость.

— Кого еще там чертяка принесла? — нелюбезно отозвалась старуха. — Верно, пьяница какой-нибудь, что ты так обрадовался!..

Она, однако, вышла — с красным, распаренным у печи лицом, в праздничном пестром платье с высоко подоткнутым подолом, так что видна была выше колен белая «спид-ныця».

— Спроси, жинка, — сказал псаломщик, немного сконфуженный нелестным для Бурбы отзывом старухи, — чим годувать дорого гостя!..

Одарка, много наслышавшаяся о Бурбе, была больше смущена, чем обрадована его посещением.

— Чем же годувать? — сердито проворчала она. — Чем Бог послал...

Бурба насупился. Он то и дело глядел по сторонам, словно высматривая кого-то в хате. Хмурясь и не глядя на стариков, он сказал им, зачем пришел, и прибавил, чтобы они взяли с собой в Городище и Марынку.

— А Марынки нема! — сказала Одарка с некоторым злородством. — Без нее обойдется!..

Бурба еще больше сдвинул брови. Видно было, что отсутствие Марынки причинило ему большую досаду.

— Где ж она? — спросил он, мрачно глядя в сторону.

— Та на млыну, у деда Тараса... — виновато объяснил псаломщик. — Можно зараз поехать за ней...

— От еще выдумал! — с сердцем сказала Одарка. — Куда ей с лихоманкой на вечерницу!..

Суховей незаметно толкнул жену в бок, тихо сказав:

— Молчи, стара!..

Одарка раздраженно фыркнула, словно хотела сказать: я все знаю, да это ни к чему!.. Она своим бабьим чутьем угадала, что Бурба неспроста пришел к ним и заговорил об их дочке. Старухе не нравился Бурба, да и люди плохо о нем говорили. «У него очи, — думала она, — как у той нечистой силы, что в церкви намалевана!..» В своем сердце она уже решила, что он — не жених для Марынки...

Бурба больше ничего не сказал. Он ушел злой; видно было, что он не верил в болезнь Марынки: старики просто не хотят взять ее с собой к нему в Городище. Его угрюмый вид точно говорил: хорошо же, я вам покажу!..

XIX

Чертово пиршество

В Городище шел пир горой. Во всей хате Бурбы — в обеих ее половинах — были понаставлены столы, заваленные всякой едой, заставленные бутылками и кухолями с водкой и вином. Питья было столько, что, казалось, у Бурбы были не бочки с вином и водкой, а целые ручьи, которых, сколько ни пей, никогда не вычерпаешь.

За столами прислуживал только один глухонемой работник Бурбы, Свинота, который как-то умудрялся поспевать всюду, словно он в одно и то же время был в обеих половинах хаты. Только кто-нибудь оглянется, чтобы попросить наполнить опорожненный кухоль — а уж Свинота и стоит позади с протянутой рукой, как будто он все время

только здесь и находился, ожидая, когда понадобятся его услуги...

Никто ни в чем не терпел нехватки. И съедено и выпито здесь было так много, как ни на одной батуринской свадьбе. Долго после этого батуринцы не могли очухаться и говорили, что такого пира, может быть, не бывало и у самого Мавепы, когда он был гетманом Малороссии. Мазепу приводили в пример потому, что бурбино пиршество происходило ведь ни в каком ином месте, как именно в самом Мазеповом Городище...

Сам Бурба не сидел, а только похаживал от стола к столу, наливал гостям в стаканы и кружки вино и водку, чокался с ними и пил, ничем не закусывая. Гости его все были пьяны, а он оставался совершенно трезвым; он не пьянел, несмотря на то, что не отставал от гостей и добросовестно осушал почти с каждым из них то стакан водки, то кружку вина. На это даже обратили внимание некоторые из его гостей. Больше всего по этому поводу горячился колбасник Синенос. Он даже ударил кулаком по столу, опрокинув свой стакан, который сейчас же был наполнен подоспевшим в эту минуту Свинотой, и сказал с глубоким убеждением:

— Бурба — сам черт! Я его добре знаю!..

Бурба же стоял прямо против него, по другую сторону стола, и смотрел на его пестрый нос — ибо все лицо колбасника состояло из одного только носа — с хитрой усмешкой, поблескивая своими звериными глазами из-под насушенных рыжих бровей.

— Та я вам еще лучше скажу! — продолжал Синенос, не замечая его. — Я сам видал, своими очами, как Скрипица на семибалковской дороге играл на своей музыке, а за ним бежала дивчина в одной рубашки, эге ж, та так аж до самого Городища! Так то, может, скажете, не бурбино дело?

— Бабы брешут — и ты с ними! — недоверчиво отозвался кто-то из гостей. — Чья ж то была дивчина?..

— А чья ж, как не суховеева Марынка? То ж она и была! Эге ж! — горячился колбасник. — От же лопни мои очи, если это не так!..

Тут в разговор уже вмешалась и Одарка, вскочившая со своего места так, точно под нее подложили горячие угли.

— Что? Марынка? — взвизгнула она на всю хату. — Что ты тут про мою дочку рассказываешь, пьяница проклятый?..

Синенос был сильно озадачен и сконфужен.

— Тю! — сказал он, удивленно вытаращив на нее свои посоловелые глаза. — Откуда ты взялась?.. Я и не знал, что ты тут!..

— А вот узнаешь, как я тебе, брехуну, всю твою поганую харю заплую! — кричала Одарка. — Ну-ка скажи, какая-такая Марынка, черт паршивый?

— Та твоя ж! — сказал Синенос, недоуменно пожимая плечами. — Разве ж ты не знаешь? Спроси хоть у Скрипицы!..

— Скрипица? — завизжала Одарка, точно ошпаренная кипятком. — Что он про Марынку набрехал, байстрюк, небога, холера чертячая?..

Синенос, не зная, что сказать, только беспомощно раскрывал рот и шевелил пальцами. Ему на помощь выступила его жена Домаха. Она давно точила зубы на Одарку, которая выгнала ее как-то из своей хаты за ее длинный и злобный язык.

— Та ты лучше у самого Бурбы спытай, — пропела она язвительно, тоненьким голоском, — чи не была у него твоя Марынка!..

— Эге ж, была! — вдруг сказал кто-то густым басом и засмеялся отвратительным смехом, похожим на бляенье старого барана. — Может, и еще будет!..

Все сразу замолчали. Похоже было на то, что это сказал сам Бурба — но его нигде не было видно. Гости испуганно переглянулись; самые робкие даже тихонько под столом перекрестились...

Вдруг Бурба показался в дверях. Он стоял неподвижно, заложив руки за свой широкий красный пояс, стягивавший на животе его казака, и смотрел на Одарку острыми, как гвозди, глазами.

Псаломщица со страхом взглянула на него. «И вправду, очи как у той нечистой силы!» — подумала она, ежась под его пристальным взглядом.

— Та все брешут люди! Моя Марынка не такая! — сказала она уже более мирным тоном, ни к кому не обращаясь, как будто самой себе. — Хай Бог милуе...

Бурба тихо засмеялся.

— А может, и не брешут... — сказал он, взяв руки в бока, тяжело глядя на Одарку из-под насупленных бровей. — Может, я хочу взять за себя Марынку? Га?..

Одарка еще больше испугалась. Она даже побелела и растерянно озиралась по сторонам. Хитрость у нее, однако, взяла верх над страхом, и она уклонилась от прямого ответа:

— Марынка тебе не пара. Где ж там!...

Лицо Бурбы потемнело. Он хмуро сказал:

— То я знаю — пара, чи не пара! А ты скажи — отдашь за меня дочку, чи не отдашь?..

Одарка так вся и затряслась. «От еще причепился, сатана, нечистая сила!» — подумала она со страхом. И она снова уклончиво ответила:

— Чего ж не отдать? Только дивчина дуже молода, пускай еще подрастет...

Бурба сделал вид, что он говорил так себе, не всерьез, и опять засмеялся.

— Эге ж, молода! — сказал он, как будто соглашаясь с Одаркой. — Та мне и не надо Марынки. То я так, шутовал...

Но его зубы так злобно оскалились и глаза блеснули на псаломщицу такой яростью, что другим гостям стало вчуже жутко за Одарку. Нет, это не было похоже на шутку!..

Одарка же рада была, что он «отчепился» от нее. Усевшись на свое место, она вспомнила про Скрипицу и со злостью проговорила:

— А с тем поганцем, бродягой ледащим, я еще посчитаюсь, чтобы он не брехал на мою Марынку!..

Бурба опять куда-то исчез. Пиршество продолжалось, снова поднялся шум, гомон, галдеж, в котором смешива-

лись в один сплошной гул дикие выкрики, пьяное пение, ругань, визги баб. Уже наступал вечер, в хате становилось темно, и в сумерках все эти пьяные люди походили на сумасшедших, бестолково кричавших и махавших над столом руками...

Никто не заметил, как Бурба вытащил из-за стола Скрипицу и увел его куда-то с собой. Когда, немного спустя, Свинота расставил на столиках зажженные сальные свечи, воткнутые в пустые бутылки — Бурба по-прежнему похаживал вокруг столов, с презрительной усмешкой оглядывая всю эту пьяную ораву, совершенно потерявшую рассудок и образ человеческий.

А Скрипицы за столом больше так и не видели...

XX

На мельнице

Мельницу деда Тараса Марынка любила с раннего детства. Для нее было большим праздником ездить «до млына», где можно было побегать в темной мельнице по разным лесенкам вверх и вниз, посмотреть, как вертятся жернова, как бежит мука узеньким, непрерывным ручейком, как бурлит под мельничными колесами вода.

Не меньше мельницы привлекал ее и старый дед, который был с ней ласков и нежен, как никто из родных, и рассказывал такие интересные, страшные или смешные истории, каких никогда ни от кого ей не приходилось слышать. Мельница казалась ей более родной, чем отцовский дом, и Марынка, покидая ее, всегда плакала и долго не могла утешиться...

«Млын» деда Порскала был самый старый из всех мельниц, стоявших на Сейме при слиянии его с Ровчаком. Соломённая крыша его, не перекрывавшаяся с незапамятных времен, была совершенно черная и походила на лохматую голову со свисавшими вниз угрюмыми, печальными кос-

мами. Бревенчатые стены тоже давно почернели от времени и осенних и зимних непогод, и просачивавшаяся изнутри сквозь щели мелкая мучная пыль покрыла изъеденные червями бревна несмываемым серым налетом.

Над крышей густо и широко разрослись во все стороны ветви старых, мощных верб, посаженных лет двести назад, и их пушистая, мелкая серо-зеленая листва свежо и протяжно шумела в нежной гармонии с ропотом быстро бегущей речной воды и мерным жужжанием вертящихся жерновов. Под этими вербами, у стен мельницы, в самый знойный день всегда стоял сладкий холодок, в котором отдыхали со своими круторогими волами мужики, привозившие на мельницу зерно для помола.

Слаще всего здесь шумели мельничные колеса — огромные, сбитые самым примитивным способом — без единого гвоздя — из больших кривых и корявых жердей, всегда мокрые, покрытые влажным темно-зеленым мохом и водяной плесенью. От них веяло какой-то старой, далекой-далекой жизнью первобытных людей, впервые, наивно и неумело, приспособивших воду как механическую силу.

Шум этих колес для Марынки ни с чем не мог сравниться — ни с песнями девушек, ни со сказкой деда, ни даже с музыкой цыган на скрипке, кларнете и контрабасе, которую она так любила слушать на ярмарке в Батурине. Она могла часами простаивать на мостике, перекинутом над плотиной, и смотреть на бегущую внизу воду, в которую, с визгом и скрипом крутясь на толстом саженом бревне, врезались три колеса своими черно-зелеными лопастями, производя дикий, страшный и вместе веселый шум. В своеобразной хаотической музыке вертящихся колес Марынке чудились отголоски дедовских сказок, таких же простых, грубых и наивных, как и те неведомые люди давно прошедшего времени, выдумавшие и пустившие в ход эту перувую, грубо сколоченную, неуклюжую машину...

Мельничная шумиха и теперь не утратила для Марынки своего очарования. Проснувшись рано утром на дедовом «млыну», она подняла голову и с тихим удивлением прислушалась к мощной работе колес, от которой сотрясалась

и скрипела в своих распатанных по углам скрепах вся старая мельница. Где-то хлюпались за бревенчатой стеной в воду лопасти колес, тревожно визжала несмазанная ось, которую они заставляли крутить при помощи деревянной шестерни двадцатипудовые жернова и поднимать и опускать на длинных жердях громадные деревянные молоты сукновалки, где сбивалась овечья шерсть в войлок и толстое сукно для крестьянских свиток.

Шум, производимый всем этим движением, мог вызвать у незнакомого с делом человека представление о лихорадочной, спешной работе, — но Марынка знала, что на мельнице диды никогда не спешили: стоило только прислушаться и уловить ухом в этом общем грохоте мерное журчание жерновов, чтобы почувствовать, что здесь идет спокойная, даже ленивая работа, никогда не знавшая спешки. Марынка сладко потянулась, ощутив этот теплый, ленивый покой знакомого, родного уюта дедовской мельницы...

Хохлы никогда не торопятся, не беспокоятся. Даже осенью, когда, после молотбы, со всех сторон съезжаются к мельнице возы, горой наваленные зерном в мешках — дед Тарас и тогда не теряет своего обычного спокойствия и не может отказаться от своей природной хохлацкой лени, которая больше располагает к «балаканию» с мужиками в тени верб, чем к работе над их зерном. Да и нельзя тут никак ускорить работу: жернова могут вертеться только так, как они вертелись спокон веку, и нужно переделывать весь механизм мельницы, чтобы заставить их оборачиваться быстрее, а это представлялось диду и невозможным и ненужным. Мужики и сами любили «побалакать», и так как каждый из них располагал достаточным для этого временем, то никто и не торопил диду, предоставляя мельнице самой управляться с работой по мере ее сил и возможности.

Летом же, когда мельница работала только два дня в неделю, домалывая последние остатки запасов прошлогоднего зерна — дид еще меньше уделял ей внимания, весь занятый своими длинными, тягучими мыслями о своей долгой жизни и ожидаемой им со дня на день смерти. Нехотя, лениво похаживал он по мельнице, трясая своей лы-

сой головой и почесывая в белой, уже начинавшей зеленеть от глубокой старости, длинной бороде; он изредка взбирался по шаткой деревянной лесенке к жерновам, насыпал зерно, подставлял руку под струйку муки и подносил ладонь близко к своим подслеповатым глазам — если мука была крупная — он усиливал давление верхнего жернова при помощи особого приспособления, такого же нехитрого, как и все устройство мельницы. А в сукновалку он и не заглядывал, там у него был работник Микола, который и без него отлично справлялся со своим делом, успевая и поспать где-нибудь в закутке, на куче мягкой овечьей шерсти, и поудить в реке рыбу, и поболтать с приезжими мужиками...

Деду было уже около девяноста лет, сколько точно — он не знал, потому что потерял и счет своим годам. Когда ему стукнуло семьдесят пять лет — он перестал считать, решив, что пора уже умирать. С того дня он ходил в чистых белых штанах и белой рубаше и спал под образами, чтобы быть всегда готовым к смерти. У него в сундучке были приготовлены, купленные на ярмарке в Батурине, и саван из белой кисеи с золотыми крестами, и туфли, какие в Малороссии шьются для покойников, и «смертная» восковая свеча — все, как полагается для доброго христианина.

Но смерть не приходила, старик жил и жил — и, казалось, кто-то, кому это ведать надлежит, забыл совсем о нем и дед так и остался жить вечно. То, что смерть не приходила — не радовало и не огорчало деда: значит, так нужно, придется пожить еще. Мужики, приезжая на мельницу, каждый раз дивились его живучести:

— Еще жив, диду?

Дед спокойно, с добродушной улыбкой, отвечал:

— Та еще... Как надо будет — то и помру...

— А когда ж надо будет?

— Про то она сама знает...

Он ожидал смерти, как праздника, нисколько не боясь ее: ведь это только простой переход из бытия смертного к жизни вечной и притом еще блаженной, в райских селениях, среди праведников и ангелов Господних. Он рассказывал Марынке, что там птицы поют еще лучше, чем на

земле и «квиточки цвиту́ть, як тии очи ангелов»; где ступишь ногой — там и цветок глянет, куда помотришь — там пташка запоет. А кругом — звезды, «зироньки», души младенцев нерожденных, так и крутятся, так и блестят в очи; возьмешь в руку, помотришь да ипустишь — иди, Божья душа, гуляй в небе, пока тебя Господь не пошлет на землю.

— А что же там едят покойники, дидусю? — любопытствовала Марынка.

— То ж не люди уже, внучко, — отвечал дед, весь озаренный своими мечтами о рае, — а только души бестелесные. Ну, может, ту манну едят небесную, та запивают росой Божией. А больше ничего им не надо. Вот как, дивчинко!..

В детстве Марынка не видела никакой особенной прелести в дедовом рае: только и добра, что птицы поют да цветы цветут, а нет ни таких мельниц, как у деда, ни ярмарок веселых с цыганской музыкой, ни рождественских колядок со звездой, а уж о вкусных вещах и говорить нечего — там уж, наверно, не найдешь ни рожков, ни медовых пряников, ни конфет и орехов, какими она лакомилась в лавке у еврейки Стеси или у Кривохацкого...

Ей нужно было пережить большое потрясение, большое мучение, чтобы понять мечты деда, и теперь рай Тараса Порскалы представлялся ей сладчайшим местом успокоения от страха, тревог и волнений. Теперь она понимала вею мудрость этого дедова рая после такой долгой жизни, как у деда, или таких мучений, как у нее, когда хотелось только отдыхать и отдыхать и казалось, что ничто, кроме смерти, не может дать такого глубокого, такого полного, беспробудного покоя...

— Я, дидусю, хочу помереть... — сказала Марынка деду, едва встав с постели.

Дед долго, сосредоточенно пожевал губами и задумчиво сказал, трясая своей лысой головой:

— Еще пожить нужно, дивчинко; она сама знает, как придет час...

Марынка подумала и тихо сказала:

— Я не хочу больше, дидусю, жить. Сдается, что я уже такая старая, как и ты, может, еще старее...

Дед погладил Марынку по плечу своей костлявой, жилистой рукой, в которой оставались только кости да кожа.

— То от лихоманки, Марынка. Пройдет — так еще сама рада будешь, что живешь...

— Нудно мне... сумно, — сказала Марынка и тихо всхлинула. — Сердце болит, дидусю...

Она заплакала, приклонив голову к дедову плечу. Старик все тряс бородой, и видно было, что человеческое горе совсем не трогало его. Он как будто уже ушел от жизни и смотрел на нее спокойно и бесстрастно.

— Не плачь, дивчинко, — сказал он, равнодушно махнув рукой, — погуляй лучше, пока солнце светит, а там — что будет, то и будет...

Многолетний стариковский опыт деда, сказавшийся в его совете — погулять, пока солнце светит — был исполнен глубокой жизненной мудрости: живи, пока живется, а дальше будет то, что должно быть. Марынка, перестав плакать, внимательно посмотрела на деда — и тихонько отошла от него. Может быть, так и надо — ни о чем не думать, а жить — как живется?.. Она задумалась над этим и долго стояла в углу темной мельницы, точно решая вопрос — жить ей или помереть. Молодость брала свое — больше хотелось жизни, чем смерти. Она потрянула вдруг головой, точно выбрасывая из нее все свои печали, и побежала. На мельнице четко и дробно застучали каблуки марынкиных сапожек...

Прежде всего она взбежала по скрипучей лестнице к жерновам и долго смотрела, как они сосредоточенно, деловито вертелись — верхний в одну сторону, нижний — в другую, точно они поссорились и старались разойтись в разные стороны.

— Не мешай, дивчино, — казалось, с добродушной важностью ворчали они, — не мешай, не мешай! Хочешь есть ржаного та пшеничного хлеба — так уходи отсюда, уходи, уходи!..

Марынку смешили эти важные, неуклюжие жернова, словно надутые от сознания серьезности исполняемого ими дела; они не знали, что вертятся не сами, не по своей доброй воле, — если бы им объяснить, что их вертят мель-

ничные колеса — они, наверно, не поверили бы и надулись еще больше...

Колеса тоже напрасно воображали, что крутятся сами по себе, — так смешно было слушать их нахальный скрип и визг и яростное хлопанье по воде осклизлыми лопастями; им, конечно, должно было казаться, что вода только мешала им, путаясь между их лопастями, в то время как они двигались только благодаря ее быстрому течению, которое толкало одну лопасть за другой и этим сообщало всему колесу вращательное движение.

Впрочем, и воде, которой, казалось бы, уже можно было быть уверенной, что она, своим собственным стремлением, гонит мельничные колеса, — нечем было гордиться уже потому, что если бы не было плотины, то ей пришлось бы идти гораздо медленнее и она не имела бы силы толкать тяжелые колеса.

Только человек, подчинивший их друг другу и всех вместе — себе, ничем не проявлял своей гордости, и его, за шумом воды, колес и жерновов, совсем не было слышно...

Марынка задумалась у жерновов под их тихую, однообразную музыку. Потом встряхнулась и тихонько засмеялась.

— От дурные... — ласково сказала она жерновам, глядя на их глупое, смешное кружение на одном месте...

Тяжелые камни как будто силились сожрать бесконечно сыпавшееся в их бездонную пасть зерно, а оно все вытекало у них изо рта в виде мягкой, серовато-белой муки. Когда Марынка была маленькой, она очень любила есть эту муку и у нее всегда была вымазана ею вся мордочка до ушей. Она и теперь подставила руку под мучную струю и попробовала есть теплую, душистую ржаную пыль, — но это уже было не то, что в детстве: мука показалась ей невкусной...

Потом Марынка забралась в кладовую, отгороженную в углу мельницы досками, где хранился разный хлам деда, вещи его жены и двух дочерей, сестер Одарки, так давно умерших, что на кладбище от их могил и следа не осталось. Здесь Марынку напугали две большие крысы, высо-

чившие из угла и с яростным писком затеявшие драку, невзирая на ее присутствие...

От вещей покойниц пахло смертью, забвением, и Марынка вздрогнула, почуяв этот могильный запах. Она закрыла рукавом сорочки лицо и, быстро попятившись назад, захлопнула дверь кладовой. Ее долго еще преследовал этот тяжелый запах, от которого поднималась к горлу противная тошнота. Нет, не надо смерти! От покойников и их вещей так нехорошо пахнет!..

В сукновалке глупые и жалкие деревянные молоты неуклюже били овечью шерсть. Они поднимались вверх с таким грозным видом, точно собирались размозжить всю землю, а опускались всего-навсего в кучу грязной шерсти и шлепались с мягким глухим стуком, смешно зарываясь в нее тупым носом. Опустившись вниз, они, вероятно, вследствие какого-нибудь недостатка в мельничном механизме, поднимались не сразу, а некоторое время так и лежали, наполовину спрятавшись в шерсти, точно сконфуженные своим бессилием и несоответствием своего грозного подъема и беспомощного падения...

Работник Миколка, мальчик лет семнадцати, сидел на пороге сукновалки в раскрытой на реку двери и мастерил от нечего делать дудку из зеленой ивовой коры, снятой целиком, трубочкой, с обрезка ветви. Марынка, стоя над ним, подождала, пока он вырезал на ней пять дырочек и всадил в один конец втулку с надрезом, образующим узкую щель.

— То что будет? — спросила Марынка, заинтересовавшись его работой.

— А сопилка! — важно отвечал Миколка. — Ось послухай!..

Он взял один конец дудки в рот и, быстро перебирая на дырочках пальцами, заиграл что-то длинное, тягучее, с бесконечными переливами и трелями, как играют где-нибудь далеко в поле подпаски, стосковавшиеся в одиночестве, в обществе овец и собак...

— А ну тебя! — сказала с досадой Марынка, отмахиваясь от него с таким же неприятным чувством, как и от

преследовавшего ее смертного запаха вещей дедовых покойниц. — От такой музыки заплачешь!..

Она выбежала за дверь и пошла берегом, щурясь от солнца, слепившего глаза после мягких сумерек мельницы. А Миколка, сидя на пороге, равнодушно смотрел ей вслед и продолжал играть на своей сопилке, усердно надувая щеки, между которыми совершенно исчезал его похожий на пуговицу нос...

Марынка взобралась на мостик, перекинутый над плотиной, и долго смотрела на кипящую, пенящуюся под мельничными колесами воду. От быстрого движения воды и мелькания белой пены у мерно сменявших одна другую лопастей колес — у Марынки закружилась голова, потемнело в глазах. Она почувствовала, как у нее похолодело, побледнев, лицо. «Смерть! — с ужасом подумала она. — Ой, Боже, как страшно!..»

Оправившись, она поспешила уйти с мостика, боясь уже смотреть на воду. После этого она каталась в дидовом челне, стоя в нем на коленях и ловко, как заправский рыбак, управляясь одним коротеньким веслом, которым она гребла то с одной, то с другой стороны лодки, быстро скользя по воде. Она уехала далеко от мельницы и на пустой, безлюдной реке ей стало скучно. Причалив к берегу, она принялась с Миколкой удить рыбу диду на ужин...

Потом она возилась на кухне с бабой Бамбиркой, помогая ей стряпать обед; после обеда, сидя на пороге мельницы, слушала бесконечное балаканье диды с мужиками, сидевшими в холодке под вербами со своими волами прямо на земле...

Весь этот день у нее было такое чувство, словно она переменилась, стала какой-то другой, непохожей на прежнюю Марынку. Или это на мельнице диды было совсем не так, как прежде — и оттого ей было здесь так скучно и не по себе?..

К вечеру, получив свою муку, мужики уехали. Дид сидел у порога и молчал. Марынка, обняв руками колена, смотрела прямо перед собой неподвижными, невидящими глазами. Лицо ее осунулось и потемнело...

Мельница продолжала работать, скрипя, гремя, повизгивая, вздрагивая всем своим старым корпусом от мощных ударов колес по воде. В надвигавшихся вечерних сумерках шум мельницы казался тише, глуше, словно она засыпала и работала в полудремоте, убаюкиваемая мерным ритмом движения воды, колес, шестерней, жерновов. А над ее крышей, раскинувшись большим мелколистным, мягко темневшим в вечернем небе шатром, тихо, важно шелестели старые вербы, давно уже привыкшие к этому вечному шуму и гаму, под который они сладко и спокойно спали, отвечая ему лишь сонно-дремотным лепетом своих бесчисленных узеньких листочков, ласкаемых легким речным ветром...

Река, насыщенная вечерней синевой, казалась глубокой-глубокой, и отражение мельницы в воде было странное, совсем непонятное. А дали реки и окаймлявших ее бесконечных лугов затягивались легкой, полупрозрачной дымкой, в которой то вдруг просияет и тотчас же погаснет крупная, светлая, как слеза, звезда, то замигает красно-желтым огоньком костер, зажженный где-то далеко в степи пастухами или чумаками, каким-нибудь бродягой или Божьим странником. И такой широкой свободой веяло от этих синих просторов и далей, так резко тянуло от реки и росистых лугов прохладой, насыщенной запахом речных водорослей, полевых цветов, молодых побегов вербняка, густо проросшего на прибрежных песках Ровчака и Сейма...

У Марынки в груди щемило от этого простора, тишины, прохлады. Она прижалась к деду и тихо сказала:

— Хорошо у вас, дидусю. Лучше, чем у Черного става...

— Та добре, дивчинко, что и говорить... — отвечал дед, глядя прямо перед собой своими выцветшими, неподвижными глазами, казалось, видевшими уже не Сейм и луга, а иные реки, иные дали, рисовавшиеся в его долгих, многолетних думах о небесном рае...

Дед умолк и долго, долго молчал. Марынка дернула его за рукав рубахи.

— Скучно, дидусю. Может, сказку скажете чи что?..

Дед закачал головой, точно проснулся.

— Сказку? — сказал он. — Какую тебе сказку?..

Он снова задумался, глядя в синие вечерние дали и, казалось, забыл о Марынке. Потом вдруг зашевелил своими белыми нависшими бровями и сказал, внезапно оживившись:

— Ну, слушай... Только то не сказка, а, говорят, было взаправду...

И он начал рассказывать, по-стариковски медленно и монотонно, шамкая беззубым ртом...

XXI

Быль

Отец деда Тараса много знал разных преданий Запорожской Сечи, передававшихся из рода в род, от славных прадедов-запорожцев. Марынке многие из этих преданий уже были хорошо знакомы и она могла бы и сама рассказывать их не хуже деда. Но то, что он теперь рассказывал — было совсем новое, неожиданно, Бог знает почему, всплывшее в сильно уже ослабевшей памяти старика...

В те времена, о которых шел рассказ, деду Тарасу было лет восемнадцать. Пошел он раз со своим отцом на охоту. Большим охотником был старик Охрим; для него первым удовольствием было пострелять дрохву, диких уток, бекасов. Несколько дней прошатались они полями, перелесками, болотами, много всякой дичи настреляли. И вот, уже к вечеру пятого дня, перед ними вдруг ярко засиял под лучами заходящего солнца широкий Днепр. Охотники спустились к берегу, когда солнце уже закатилось и небо пылало яркой весенней зарей...

Вдоль берега пролежала широкая дорога, давно почему-то заброшенная, поросшая травой. Ниже, у самой воды и в воде около берега, стояли высокие прошлогодние камыши, желтые, сухо и тревожно шелестевшие при легких налетах вечернего ветерка. Из них, вспугнутая охотниками, с криком вылетела стая диких уток и понеслась низко

над рекой, испуганно посвистывая в воздухе быстро мелькавшими крыльями...

На краю дороги, на круглей, земляной насыпи, высился большой крест, сложенный из камней, поросших зеленым мхом; видно было, что он много лет уже стоит над этой пустынной забытой дорогой и, глядя на воду широкой, тихой реки, слушает этот тревожный, сухой шелест камышей...

Охрим в раздумье остановился перед крестом, потом приставил себе ко лбу палец и глубокомысленно сказал:

— Эге! То ж он и есть!.. Вон куда занесла нас нечистая сила!..

Но он больше ничего не прибавил, молча снял шапку и перекрестился...

Закат погас. В быстро упавших весенних сумерках высокий черный крест рисовался как-то особенно угрюмо, таинственно, словно он хранил под собой, глубоко в земле, какую-то страшную тайну; казалось, он смотрел на охотников с суровым подозрением: не пришли ли они сюда за тем, чтобы выведать у него эту вековую тайну охраняемой им могилы?..

Становилось сыро. Над рекой поднялся сизый туман, в котором скрылся противоположный берег. Камыши у берега то тихо шуршали, словно совещааясь о чем-то, то умолкали и замирали, как будто прислушиваясь к приближающейся опасности. Где-то свистнула водяная птица; в чаще камышей, точно горько наплакавшись, что-то протяжно и грустно вздыхало и всхлипывало: ах-ах-ах-ах-ах... Сырость пронизывала охотников до костей — они начинали дрожать в своих толстых свитках...

Ночевать приходилось под открытым небом; Охрим и Тарас спустились к воде, наломали камыша, насобирали прибитых к берегу коряг и веток и разложили большой костер около самой могилы. И жутко и как-то странно хорошо было им в этой дикой, пустынной тишине, у ярко горевшего костра, освещавшего только их и склонившийся к ним, точно прислушивавшийся к их молчанию крест...

Батько Охрим задумчиво смотрел на огонь костра, поправляя рукой шипевшие мокрые коряги, чтобы они лучше горели, и все хмурил брови, как будто припоминая что-то и сомневаясь — так ли это. Потом он вдруг обернулся к сыну, отхаркнулся и заговорил:

— Было такое дело, не знаю, как его к ночи и згадать. Еще как был жив дед моего деда, так от то он сам, своими очами видал, как тут крест поставили...

И он рассказал сыну то, что знал от своего деда об этом таинственном кресте...

* * *

...В большом саду, окружающем дворец графа Замойского, тихо и пустынно. Луна светит с высокого неба, и между деревьев точно бродят легкие призраки, качаемые ночным ветерком. В темных аллеях лунное сиянье, прорвавшись сквозь густую листву, льется серебряными каскадами, скользит с одного ствола на другой. В саду так тихо, что слышно, как падает с тихим шорохом подточенный гусеницей листок тополя. А в широкой главной аллее слышен легкий скрип песка и тихий говор. Это гуляют старый граф и его молодая невеста — панна Ванда.

Девушка — в легком белом платье, с горностаевым мехом вокруг шеи. Она опирается на руку жениха и вся дрожит от ночной прохлады; ей немного страшно в этой глухой, полной таинственных звуков тишине сада. Она даже порой вздрагивает, прислушиваясь к подозрительному шороху в кустах...

— Там как будто кто-то крадется... — говорит она, боязливо озираясь по сторонам...

Они останавливаются и долго, внимательно слушают. Граф смеется и ласково говорит:

— Вам почудилось. Это ветерок пронесся кустами...

Они идут дальше, тихо разговаривая. В лице у панны Ванды — скука, тоска и страх. Она снова вздрагивает и огля-

дывается. В кустах что-то шуршит, движется, как будто в самом деле кто-то осторожно и упрямо крадется за ними...

— Я не могу... — говорит девушка, бледнея. — Страшно...

Граф берет ее руку и наклоняет к ней свою седую голову.

— Панна Ванда, — говорит он убедительно, — вы со мной, в моем саду — чего же вам бояться?..

И он нежно целует ее холодную, дрожащую ручку...

Кусты вдруг зашумели, закачались и раздвинулись: из них выскочил бравый молодец в запорожской шапке, с кривой турецкой саблей на боку и пистолетом за поясом.

Граф испуганно отступил назад; панна Ванда в ужасе тихо вскрикнула:

— Сивочуб!..

Она смутилась и опустила голову. Запорожец был бледен и тяжело дышал.

— Эге! То я... — тихо сказал он. — Теперь панна меня боится, а когда-то...

Панна гордо поднимает голову, ее глаза сверкают гневом.

— Что ты за мной ходишь? — говорит она, чуть не плача. — Что тебе нужно от меня?.. Я — невеста графа! Оставь меня в покое!..

Запорожец грустно качает головой.

— Так... Богачества панне захотелось...

— Ну да, богатства! — озлившись, кричит панна. — Ты — нищий, у тебя ничего нет, и я тебя знать не хочу!..

Сивочуб вздрагивает; он бормочет со слезами в голосе:

— Панна Ванда... Панна... Помнись...

Панне стыдно смотреть ему в очи, она опускает голову...

А граф дрожит от страха и гнева.

— Я свистну слугам — пусть они выведут его из моего сада!.. — шепчет он невесте...

— Не надо... — чуть слышно говорит она, закрывает лицо руками и плачет...

Граф берет ее под руку — и, гордо выпрямившись, проходит с ней мимо запорожца. Сивочуб смотрит им вслед, и его рука судорожно скользит и шарит у пояса...

Грянул выстрел и прокатился по саду громким эхо. Слабый женский крик прозвенел где-то в сумраке аллеи, и все смолкло... Только деревья испуганно шептались с ветром да фонтан где-то журчал дремотно, однообразно...

Сивочуб даже не пошел взглянуть — убил ли он и — кого; засунув пистолет за пояс, он быстро зашагал прямо через чащу. Он подошел к воротам с одной стороны, граф и панна Ванда с другой. Запорожец снял шапку и перекрестился: слава Богу, никого не убил!..

Панна Ванда, увидев его, побелела и вся задрожала.

— Убей... — тихо сказала она, опустив руки и склонив голову...

Сивочуб покачал головой.

— Бог с тобой, панна!.. Будь счастлива в богатестве, а мне одна дорога — в домовину! Такая уж моя доля!..

...Собрались казаки запорожские турка «тревожить». Спустили на воду свои быстрые челны востроносые, посадились в них и поплыли к Черному морю, к турецким берегам — «душу свою веселить, поганое племя колотить»...

И повеселились они вдоволь: жгли турецкие деревни, села и города, бились с турками не на жизнь, а на смерть, грабили добро турецкое — золото, серебро, ткани, дорогие ковры, оружие, утварь домашнюю. Каждый старался щегольнуть перед другими храбростью и удалством.

Но отважнее, бесстрашнее всех был молодой казак Иван Сивочуб. Он бросался в самые опасные места, схватывался один с целой ордой турок; нередко, потеряв его из виду, товарищи считали его уже погибшим, — а он через некоторое время возвращался к ним с богатой добычей. Бросив ее на дно своей лодки и подкрепившись горилкой, он снова уходил, забираясь так далеко в гущи вражеских селений, словно хотел во что бы то ни стало найти смерть на турецкой земле...

Многие из казаков погибли в горячих схватках с турками, другие попали в плен и по приказу султана были обез-

главлены или посажены на кол. Но большая часть уцелела и, на удивление всем, уцелел и Иван Сивочуб...

Нагрузили запорожцы свои лодки турецким добром так, что они сели в воду по самые края бортов. Нагрузили и двинулись в обратный путь...

Плывут казаки веселые, довольные, плывут медленно, потому что лодки тяжелы от добра турецкого; да и торопиться им нечего. Поют они песни веселые, хвалятся друг перед другом своими подвигами, радуются, что хорошо погуляли: до внуков не забудут их турки!..

Только мрачен и молчалив казак Сивочуб. Он сидит нахмурившись, все думает какую-то долгую, тяжелую думу, вздыхает и оглядывается назад, словно жалеет, что не нашел смерти на турецкой земле и как будто ждет — не нагонит ли она его еще по дороге...

Вдруг песни на лодках оборвались, казаки затихли и налегли на весла. Далеко позади них показались три больших турецких брига. Турки гнались за ними, чтобы отнять свое добро и проучить казаков за дерзкий набег.

Как нарочно, поднялся свежий ветер, по реке заходили волны. Тяжелы казацкие лодки, не управиться казакам с тонкими веслами. А брига турецкие шибко идут на больших парусах...

Завернули в камыши запорожцы, пробрались к берегу, вытащили лодки на берег и выгрузили награбленное добро. И тут призадумались: что с ним делать? с собой не унести!..

Подумали, пораскинули умом, погалдели — и решили в землю закопать. Вырыли широкую, глубокую яму-могилу, сложили туда добро турецкое и хотели уже засыпать яму, как вдруг атаман казацкий, сидевший поодаль с трубкой в зубах, поднялся с места и, вынув трубку изо рта, заговорил:

— Стойте, панове! Так не годится!.. Придут сюда сейчас турки, выроют та заберут добро, и все наше казацкое дело пропадет задаром. Нужно сторожа оставить верного, чтобы он не дал в обиду честь нашу казацкую. Кто из вас, панове, останется?..

Нахмурились, потупились казаки глазами в землю. Топчутся на месте, никто не выходит вперед, никто не подает голоса. Все молчат и пьются, один за другого прячутся. Куда храбрость и удаль вся девалась! Тихо-тихо стало между ними. Стоят они вокруг глубокой ямы-могилы и думают крепкую думу: ушли от турецких сабель и пистолей, — а здесь пропадать совсем уж неохота!..

Вдруг толпа раздалась — и вперед вышел Иван Сивочуб. Перекрестился он, поклонился низко атаману и всему казачеству и весело проговорил:

— Я останусь, батько, сторожить добро турецкое!..

— Ты?..

Атаман отступил назад, посмотрел на него и грустно покачал головой. Жалко ему было молодого казака. Сильно полюбил его старик за удалство, за храбрость. Да что ж? Посмотрел он кругом — стоят казаки, понурившись, никто не хочет заменить Сивочуба...

Вздохнул атамань и сказал дрогнувшим голосом:

— Ну, так и так... брат Иване... Молись...

Зашевелил Сивочуб дрожащими губами. Кто был к нему поближе, услышал, что он прошептал только два слова:

— Панна... Ванда...

Смахнул атаман слезы с глаз, поднял свой карабин, прицелился. Словно гром, ахнул выстрел, прокатился над рекой, отдался в степи за холмами. Зашумели в ответ камыши, с криком поднялись из них дикие утки...

Рассеялся дым — Сивочуба как не бывало. Свалился он в могилу, на турецкое добро, — и зарыли его казаки вместе с ним, чтобы стерег он его от «поганных нехристей»...

Насыпали над ним казаки холм земляной, сложили на нем крест из камней. И ушли восвояси, «до своих порогов та куреней»...

Тихо стало кругом, только камыши шелестели у воды да какая-то птица водяная стонала и всхлипывала в камышах долго и протяжно, как душа грешника, не знавшая пристанища... Прошли мимо турецкие брига, ничего не нашли и ни с чем назад вернулись...

А около могилы пролегла широкая дорога, и много лет по ней ходили и ездили равные люди в Киев и из Киева. Но однажды пронесся слух, что могила эта — «нечистая», и стали говорить прохожие и странники, что какая-то белая женщина в темные ночи сидит у креста и стонет и плачет на могиле до самой зари. И еще люди говорили, что началось это с той ночи, когда в Киеве, в своем богатом дворце, наложила на себя руки графиня Ванда Замойская...

* * *

...Старик Охрим помолчал немного, вздохнул и сказал:
— Вот какое дело, сыну...

Но тут и батько и сын точно окаменели от страха. За Днепром, над черным краем земли, висела круглая, красная луна, которая, казалось, смотрела на высившийся за ними крест. Ее лицо испуганно кривилось, словно она видела позади них что-то необычайно страшное. И в эту минуту, как нарочно, у креста послышался тихий шорох и как будто кто-то чуть слышно застонал и всхлипнул...

Дрожа и стуча зубами, Охрим и Тарас оглянулись — и им почудилось, что у самого креста метнулось что-то белое и мгновенно пропало в синем сумраке степной ночи...

— Ба...бачил?.. — спросил дед, весь трясаясь и лязгая зубами.

Тараса тоже била лихорадка.

— Треба до... до... до... до дому мандрувати... — сказал он, придержав рукой прыгавшие губы...

Они живо поднялись и почти бегом пустились в степь, прочь от этого нечистого места, ни разу даже не оглянувшись на страшную могилу...

— От тебе и сказка! — сказал дед Тарас, трясая своей лысой головой...

Рассказывая, он сидел с закрытыми глазами и только когда кончил — открыл их. И тут только он увидел прямо перед собой большую, круглую, красно-желтую луну, низко висевшую за Сеймом, над краем земли. Она смотрела на него и, казалось, подмигивала ему. Старик испуганно перекрестился, бормоча:

— Господи Иисусе, Матерь Божия...

Марынка поглядела в ту сторону — и боязливо прижалась к диду.

— Боюсь, дидусю... — прошептала она, со страхом косясь на луну...

Казалось, продолжалась дидова сказка. Кто-то стоял у Марынки за спиной, и луна смотрела туда своими холодными, неподвижными глазами. По лицу луны видно было, что она видела там что-то страшное...

Холодная дрожь побежала у Марынки по спине. Она уже знает, кто это там стоит! Вчера недаром сумасшедшая Любка напороочила ей домовину, — с того часа смерть неотступно ходит за Марынкой...

И вдруг в самом деле что-то белое выдвинулось из-за спины деда и тихо зашевелилось. Марынка побелела, как полотно и беззвучно, словно мертвая, покатила на землю...

Очнулась она на дедовой постели. Над ней склонилось маленькое, сморщенное, полудетское, полустарческое лицо.

— Чего ж то ты так испугалась, Марынка?... То ж я, гусятница Харитынка!..

Марынка тихо покачала головой, но ничего не сказала.

— А, Боже ж мой! — огорченно говорила карлица. — Микола сказал, что ты тут, я и пришла тебя посмотреть, та дедову сказку послушать...

Гусятница Харитынка была давней привязанностью Марынки. Еще в раннем детстве она почувствовала в Харитынке доброе, привязчивое сердце; приезжая к деду, она первым делом бежала к ней на луг, где ее встречали радостные восклицания карлицы и веселое гоготание гусей, которых она пасла. Люди, имевшие обыкновенный чело-

веческий рост, к маленькой Харитынке относились презрительно, насмешливо, словно и не считали ее за человека, и она сама привыкла думать о себе как о существе низшего порядка; ее чрезвычайно поразило то, что Марынка обращалась с ней, как с равной — и сердце забитой карлицы преисполнилось к девочке горячей, страстной любовью, собачьей привязанностью. Несмотря на свои сорок лет, она принимала участие во всех играх Марынки и веселилась так искренне, от души, точно была ей ровесницей.

Она души не чаяла в Марынке, смотрела на нее покорными, рабскими глазами и в любую минуту готова была отдать за нее свою жизнь, если бы это нужно было для счастья и покоя Марынки...

Всю ночь просидела Харитынка у постели девушки, не смыкая глаз, прислушиваясь к ее дыханию, сторожа каждое ее движение...

Марынку снова трясла лихорадка. Она спала беспокойно, часто просыпалась, говорила что-то непонятное, стонала во сне и плакала. Пробуждаясь, она видела, как дед поднимался со своей лавки и шел, высокий, весь белый, с зеленой бородой и трясущейся лысой головой, с тоненькой восковой свечкой в руке, исчезая в сумраке мельницы, где он взбирался по скрипучей лесенке к жерновам, подсыпал зерно, что-то поправлял, приколачивал, ссыпал муку в мешки. А засыпая, она чувствовала приближение какого-то страха, от которого холодели руки и ноги, и она вся вздрагивала, и слезы бежали из-под ее золотострелых ресниц на белую подушку...

А мельница все шумела, скрипела, визжала, содрогаясь и кряхтя, как старая, много потрудившаяся на своем веку работница. Где-то под полом шипела и бурлила быстрая вода, за стеной рокотали колеса, колотя лопастями о воду, а в темном нутре мельницы трещали шестерни, журчали жернова, постукивали сукновальные молоты. И сквозь весь этот шум слышно было глубокое молчание ночи, тихо плывшей над рекой, над лугами, над селеньями с влажным шелестом трав и листьев древесных, с нежным далеким мер-

цанием звезд и бледным лунным сияньем, полным задумчивой печали...

XXII

Заколдованная скрипка

Рано утром, едва только взошло солнце — Марынка проснулась, услышав, как вставал дед. Старик бормотал про себя, плеская себе в лицо воду из рукомойника:

— От и суббота святая, слава Тебе, Господи!..

Он ушел в сумрак мельницы, которая так всю ночь и не переставала работать. С приходом деда, казалось, и мельничные колеса зашумели сильнее, точно проснувшись, и жернова быстрее завертелись, и шестерни резвее запрыгали. Многоголосый шум стал вдруг живым, веселым, как будто вся мельница приветствовала появление своего хозяина...

Марынка лежала бледная, замученная лихорадкой, с темной синевой под глазами. Она чувствовала себя слабой, совсем больной. «Вот и помираю! — думала она. — Ой, как тяжело!..» И ей жалко было умирать, слезы тихо струились из-под ее синеватых век...

У ее постели, сидя на табурете, спала карлица Харитынка; на ее крошечном, сморщенном личике словно внезапно состарившегося ребенка так и застыло выражение тревоги, с каким она ночью приглядывала за Марынкой. Маленькая, сгорбившаяся, с короткими, не достающими до пола босыми черными ногами, она показалась Марынке жалкой, безобразной. «И Харитынка будет жить! И дед будет жить! — подумала Марынка с горечью. — А меня в домовину заховают!..»

Она с завистью поглядела на спящую карлицу, и ей стало досадно, что та так сладко спит.

— Харитынка! — капризно позвала она ее. — Чуешь, Харитынка!..

Карлица дернула вверх головой, раскрыла свои маленькие глазки и удивленно посмотрела на нее.

— Га? Кого? — спросила она, не понимая, где она и что с ней. — Кто меня гукал?..

— То я! — с сердцем сказала Марынка. — Пора гусей гнать до Сейму!..

— Каких гусей? — все еще не понимала Харитынка, тупо глядя на нее, — и вдруг вспомнила и ударила себя руками о бока: — То ж я день заспала!..

Она метнулась было к двери, но там остановилась и опять ударила себя руками в бока:

— Та как же я покину тебя, дивчинко? Ты ж хвора!..

— Иди, иди! — прикрикнула на нее с раздражением Марынка. — Я и так обойдусь...

Карлица смотрела на нее испуганными и преданными глазами, нерешительно топчась на месте.

— Ну так я пойду... — сказала она покорно. — Не сердись, сердце мое...

Она поцеловала Марынку в плечо и убежала, шлепая босыми, маленькими, почти детскими ногами...

Марынка повернулась на бок, к стене лицом, уткнулась носом в подушку и заплакала...

Целый день Марынка не вставала с постели. Лихорадка уже не трясла ее, но все тело болело, точно его ночью били палками. Она лежала тихо-тихо, с закрытыми глазами, бледная, как полотно рубашки, и ждала смерти. Смерть не приходила, и Марынка удивлялась — почему же она не приходит?..

А мельница все шумела и шумела; к Марынке, сквозь ее шум, доносились голоса мужиков, балакавших в тени верб, заунывные переливы Миколкиной сопилки, чирикающие ласточек, влетающих в раскрытую дверь мельницы, где у них под самой крышей, среди запыленных мухой стропил, были свиты гнезда, крики детворы, купавшейся в холодной воде Сейма. Только деда не было слышно, словно он притаился где-то в уголке темной мельницы и там думал, под шум колес и жужжанье жерновов, о своем рае с Божьими птицами и цветами, ангелами и праведниками...

В полдень дед зашел к Марынке, поглядел на нее и молча погладил по голове своей худой, желтой рукой. Марынка жалко усмехнулась ему, точно стыдясь того, что она больна, и сказала слабым голосом:

— Я помру, дидусю...

И заплакала...

Дед только потряс головой и ничего не сказал...

Старик обедал один, — Марынка есть не захотела. Когда он ушел — она попыталась было встать, села и спустила ноги на пол, но у нее закружилась голова, в глазах стало темно, в ушах зазвенело — и она опять прилегла на подушку...

Дурнота скоро прошла, но силы совсем оставили Марынку. Она опять поплакала, потом затихла, закрыла глаза и, слушая шум мельницы, унылые переливы сопилки и щебетанье ласточек, незаметно заснула...

Очнулась она уже поздно вечером. Мельница глубоко, сонно молчала; два сверчка где-то снаружи громко, взапуски трещали, словно старались перекричать друг друга. Дед неслышно спал на своей лавке, под образами, освещенный тусклым, светом лампадки; спала и карлица Харитынка, согнувшись на табурете у постели. Тишина, несмотря на треск сверчков, была такой глубокой, мертвой, словно Марынка лежала где-то глубоко под землей, куда не доносилось ни одного звука, человеческой жизни.

Сверчки вдруг умолкли, и тогда стало слышно тихое журчание просачивавшейся у плотины воды, и донесся какой-то нежный, с грустными переливами, далекий, точно плачущий и зовущий голос. Марынка приподнялась на локте и долго слушала с широко раскрытыми глазами. Что это? Миколка на сопилке играет? Или поет кто-то тоненьким голоском, идя к мельнице берегом Сейма?..

Что-то знакомое Марынке было в этом голосе, в этой песне, как будто она уже где-то слыхала ее. И сладко и отчего-то страшно было слушать ее, в груди щемило, сердце испуганно стучало, ледяной озноб лихорадки бежал по всему телу.

Марынка дрожала и беспомощно оглядывалась вокруг. Что это? откуда? Голос вдруг зазвучал громко, уже совсем близко у мельницы...

— Дидусю! Дидусю! — позвала Марынка деда. — Чуешь, дидусю?..

Дед лежал неподвижно и не отзывался. Не слышно было даже его дыханья. Не умер ли он там, на своей лавке под образами?..

Не дозвавшись деда, Марынка стала трясти за плечо карлицу.

— Харитынка, проснись!..

Гусятница открыла глаза и испуганно кинулась к ней:

— Что, сердце мое? Что, Марынка?..

Песня за мельницей сразу умолкла; опять затрещали сверчки, зажурчала вода у плотины... Марынка прислушалась — нет, тоненького голоса больше не слышно. Она спросила шепотом Харитынку:

— Слыхала?

— Что? — отвечала та тоже шепотом, испуганно глядя на нее еще не совсем проснувшимися глазами.

— Кто-то пел... Ой, как пел!..

— То, может, тебе почудилось, Марынка? Кому ж тут петь?..

У Марынки в ушах еще звенела эта песня, и сердце в груди не переставало стучать. Она еще послушала, — но больше ничего не было слышно. Опустив голову на подушку, она закрыла глаза.

— Я, Харитынка, буду спать... Еще долго до солнца...

Харитынка, зевая, сонно проговорила:

— Долго, дивчинко... Спи, серденько...

Она подперла щеку рукой, поставив локоть в ладонь другой руки — и тотчас же стала дремать, кивая головой. По ее сморщенному личику разлилось выражение сонного покоя...

У мельницы взапуски кричали сверчки, и от их звонкого и в то же время задумчивого и сонного ночного пения тишина ночи казалась еще глуше, пустынной. Марынка послушала, послушала их — и тоже задремала. Луна тихим

светом позолотила переплет окошка и заглянула в комнату бледным, прозрачно струящимся сияньем...

И вместе с лунным светом к стеклам окна робко прильнула снова задрожавшая в воздухе нежная песня. Кто-то стоял за мельницей и играл Бог знает на каком инструменте, на котором вместо струн как будто было натянута само человеческое сердце, которое плакало и смеялось...

Марынка слышала песню, но уже не просыпалась. Она только глубоко, прерывисто вздыхала, и ее губы вздрагивали и кривились, точно она собиралась заплакать...

Кто-то светлый смотрел на нее через окно, и бледный, холодный свет лился от него ей на лоб и щеки, охлаждал опущенные веки, дрожал в спящих ресницах. И к стеклам окна в сонном молчании ночи сладкий голос приникал с жалобным дребезжанием, печальным звоном:

— Марынка! Марынка!..

Девушка металась на постели, вся трепетала во сне. Она сбросила с себя простыню, подняла голову с закрытыми, спящими глазами и долго слушала. Бледная улыбка дергала ее пылающие губы, слезы застыли в золотых ресницах, как ранняя утренняя роса в волосках спелых ржаных колосьев...

— Марынка!.. — звенело где-то за мельницей. — Чуешь, Марынка?..

У Марынки шевелились губы, и она беззвучно отвечала:

— Чую...

Дремотно журчала вода у плотины, пели сверчки у порога мельницы, звенела где-то в бревне червоточина, — но слышнее всего звучал голос у гребли за мельницей:

— Выйди, Марынка! Выйди, моя красавица!..

Радостью и слезами переполнилась грудь Марынки.

— Та иду... — шепчет она и тихо поднимается с постели...

Она идет к двери с закрытыми глазами, качаясь на слабых ногах, с блуждающей на губах бледной улыбкой. Дед и карлица спят и не слышат, как скрипят доски под босыми марынкиными ногами.

У тяжелой, запертой на засов двери она стоит и слушает и вся дрожит от лихорадки. Потом поднимает к железному засову руки — и вздрагивает от прикосновения к холодному железу. Губы ее кривятся, ресницы, как бабочки, бьются над мертвенно-бледными щеками...

Золотой паутиной вьется песня вокруг мельницы, тянет Марынку туда, где луна светит и ночь прохладой дышит. Она открывает дверь и переступает порог, стоит и слушает. Ее всю обняло белым светом луны, холодом речной сырости. Она зябко дрожит и поводит головой туда и сюда, осторожно, нерешительно делает шаг, другой — и идет к гребле, на тоненький, серебристый голос, беспрерывно звучащий, неотступно зовущий.

Там стоит пьяный Скрипица и играет на своей старой, разбитой, заколдованной скрипке. Он ждет, пока Марынка подойдет ближе, потом поворачивается и шагает берегом, по песку, вдоль кустов молодого вербняка. И Марынка идет за ним, с протянутыми вперед руками, с поднятым кверху, спящим, белым, как луна, неподвижно слушающим лицом...

Так идут они пустынным берегом Сейма, потом тихо шумящей осиновой рощей и свежим лугом, где мокрая от росы трава хлещет по голым ногам Марынки, потом опять прибрежными песками. Марынка отстала, ей трудно идти по песку, в котором выше щиколоток увязают ее босые ноги и она тихо стонет, — а Скрипица уже взошел на паром и, играя, поджидает ее. У парома она с минуту стоит, как будто колеблясь, осторожно трогает ногой доски парома — и неуверенно ступает на них. Скрипица тянет канат — и снова играет. Паром отчаливает и тихо плывет по реке...

Марынка стоит у самого края неподвижно, как столб, и в ее лице — испуг и недоумение. Она чувствует на лице и руках движение воздуха, а под ногами — что-то шаткое, неверное и боится пошевелиться. Тонкий серебристый голос временами умолкает — когда Скрипица тянет канат замедлившего ход парома — и тогда лицо Марынки темнеет от страха и тоски. Ее ресницы начинают биться над щеками, она вот-вот проснется и откроет изумленно глаза. Но тот уже снова приладил скрипку к подбородку и нежно водит смыч-

ком по струнам, — и девушка вся точно светлеет, углы губ трогает тихая, бледная улыбка...

Паром достигает середины реки — и тут только на берегу появляется паромщик Давидка. От удивления он ударяет себя руками о длинные полы своего сюртука.

— Уй, Боже ж мой! — кричит он в ужасе. — Кто это паром угнал? Что это, скажите пожалуйста?..

По музыке он узнает Скрипицу и кричит ему с берега скрипучим голосом:

— Эй, господин Скрипица, куда вы паром взяли? Дайте его сюда назад, я вам говорю!..

Скрипица играет, не обращая на него никакого внимания. У Марынки вздрагивают губы от резкого крика Давидки, недоуменно сдвигаются и поднимаются брови...

Давидка весь горит любопытством: кого это везет Скрипица, да еще с музыкой? Там как будто и не человек вовсе, а какое-то белое привидение!..

— Я же вам говорю — дайте паром назад! Что это за наказание Божье! — кричит он снова придушенным от злости и страха голосом.

Но паром уходит все дальше, и Скрипица ничего не отвечает. Давидка смотрит вслед парому с разинутым от изумления ртом.

— Рива! Ривеле! — кричит он, бросаясь к своей хате. — Пойди скорее посмотри — этот пьяница Скрипица везет на пароме привидение! Ей-Богу, честное слово, накажи меня Бог!..

На крик Давидки из хаты выходит жена его, Рива, заспанная, в одной рубашке; она долго протирает глаза, чтобы лучше видеть. Паром уже причалил к тому берегу, и Скрипица вступает на мост, перекинутый через Ровчак. Белое привидение идет за ним по песчаной косе, блестя в лунном свете золотыми волосами.

— То ж Марынка суховеева! — говорит, взглядевшись, Рива. — Пусть меня земля возьмет, если то не она!..

Давидка уже в полном недоумении всплескивает руками.

— Не может быть! — говорит он, совсем растерявшись.
— Тут уже совсем-таки ничего не можно понять!..

Они долго смотрят вслед Скрипице и Марынке, недоуменно разводя руками и пожимая плечами.

— Ну? Ты когда-нибудь видела такое? — говорит Давидка своей жене с досадой и огорчением. — Идем, Рива, лучше спать. От такого дела можно с ума сойти, ну их совсем, накажи меня Бог!..

XXIII

Сон в летнюю ночь

Поссорившись с Марынкой, Наливайко шатался по Батурину, не зная, куда девать себя. Марынка спряталась, он напрасно ходил около суховеевой хаты — она больше не показывалась. «И не надо! — сказал он, обозлившись. — От еще цаца какая!..»

Однако, уже поздно ночью, он еще раз подошел к Черному ставу. В суховеевой хате было темно, дверь заперта, на крыльце под навесом никого не было. Он долго ходил около хаты, ожидая что Марынка выглянет. Но вместо нее выглянула Одарка. Старуха погрозила ему кулаком и крикнула:

— Пошел, пошел отсюда! Убирайся...

— Где Марынка? — спросил Наливайко хмуро.

Одарка подняла крик на всю улицу.

— Я тебе покажу такую Марынку, что ты и света не увидишь!.. Нема Марынки, и не будет тебе Марынки!.. А ты не шатайся тут даром, а то попробуешь у меня кочерги та ухвата!..

Наливайко далеко уже ушел по семибалковской дороге, а Одарка все еще кричала и ругалась. Он был уже около дворцовой рожи — и все еще слышал крики сердитой псаломщицы.

«И баба же! — думал он, недоуменно качая головой. — Сдается, ее было бы слышно аж до самого Киева!..»

Было уже поздно; небо заволокли тучи, за которыми спряталась и луна. Ночь точно черной шапкой накрыла Батурин. Наливайко в своей чумацкой жизни привык спать где попало и как попало, поэтому он и не подумал идти домой, а растянулся тут же на земле у развалин...

Перед ним высились чуть белевшиеся в темноте стены дворца с большими черными дырами окон. Ему показалось, что из одного окна кто-то выглянул и сейчас же спрятался. Люди говорили, что там часто бродят какие-то тени; вспомнив об этом, Наливайко про себя усмехнулся: «Брехня!..» Он, однако, долго еще, упершись локтями в землю и подперев ладонями лицо, смотрел на черные дыры дворцовых окон...

Он много слышал об этом дворце. Одни говорят, что в нем так никто никогда и не жил, другие же рассказывают, что здесь когда-то кипела шумная, богатая, блестящая жизнь, давались балы, пиры, гремела музыка, трубили охотничьи рога, съезжались со всех концов Украины и даже из Москвы и Петербурга знатные гости; что гетман Малороссии, граф Разумовский, угощал и развлекал своих гостей так, что не только в Батурине, но даже в Киеве и в Полтаве говорили об этих балах и пирах.

Как бы там ни было — от прекрасного дворца остались одни полуразрушенные стены с пустыми дырами окон, без рам и стекол. С упразднением в Украине гетманства о дворце совсем позабыли; наследники последнего гетмана разсеялись по разным странам, не оставив в нем даже сторожа — и из него было расхищено все, что только можно было унести, даже оконные рамы, двери, доски полов, стропила крыши. Последний отпрыск Разумовских, живший где-то за границей, как-то приезжал в Батурин, хотел восстановить это красивое здание в память своих предков, — но, говорят, печальный вид развалин произвел на него такое удручающее впечатление, что он походил-походил вокруг них, махнул рукой — и опять уехал за границу, чтобы больше уже никогда не возвращаться. И развалины оста-

лись развалинами, доживая свой век в полной брошенности и забвении, пугая женщин и детей своим угрюмым видом и эхом, со страшной отчетливостью повторявшим в стенах каждое произнесенное снаружи слово. Благодаря мрачному виду развалин и этой необыкновенной звучности эха в Батурине и создались разные легенды о живущей будто бы в них нечистой силе...

Наливайко хотелось спать, но он упорно тарашил глаза на темные отверстия окон, из которых, казалось, кто-то смотрел на него пристально, неотступно. Он знал, что там нет ни чертей, ни привидений, выдуманных пугливыми бабами и детьми, — и все же ему думалось: «Кто его знает? Может, то смотрит сам пан гетман або жинка его, графиня Разумовская?»

К его крайнему изумлению, все окна дворца вдруг засияли ярким светом, дворец ожил, наполнился шумом, говором, движением, музыкой. Это были уже не развалины, а роскошные палаты, в которых сновали во все стороны блестящие кавалеры в напудренных париках, в цветных шелковых и бархатных кафтанах, и нарядные дамы в воздушных платьях с широкими кринолинами, с оголенными руками, плечами и грудью, с мушкой на щеке, около пунцовых губ, нежные, кокетливые, жеманные, каких Наливайко видел на картинках в одной книжке, где рассказывалось о царствовании Екатерины Великой...

Сквозь стекла окон, сверкавших между толстыми круглыми колоннами балкона, видны были бесконечные вереницы танцующих, плавно и торжественно двигавшихся в высокой, двухсветной, ярко освещенной тысячами свечей в бронзовых канделябрах и хрустальных люстрах зале, с жеманно-церемонными низкими поклонами и грациозными приседаниями, с улыбками накрашенных уст, с блеском возбужденных глаз и драгоценных камней в серьгах и ожерельях. Дамы плавно и величественно плыли в своих широких кринолинах, и рядом с ними гордо выступали кавалеры, выделявая изящные па тонкими, в узких коротеньких панталонах и шелковых чулках, ногами. На хорах гремела музыка, вдоль стен бежали лакеи в ярких, расшитых золо-

том ливреях, со сладостями и прохладительными напитками на огромных подносах. По широким лестницам новые пары поднимались из нижнего этажа, где были богато убраны столы с закусками и винами, сверкавшие серебром, хрусталем, золотом. Богатством, роскошью, весельем, довольством веяло от этого блестящего праздника, сиявшего и гремевшего во дворце гетмана Разумовского...

Наливайко видит — среди танцующих, в паре с кавалером в голубом кафтане и лиловых панталонах, идет дама, лицо которой ему очень знакомо. У нее на голове высокая прическа из золотых волос, посыпанных белой пудрой, над углом рта — черная мушка, платье с огромным кринолином, — но эти синие глаза, эти нежные голые плечи и маленькие белые руки он где-то видел, эти гордые уста с ним говорили, — где, когда?.. Кавалер наклоняется к ней и что-то говорит, танцую, они кланяются друг другу, дама приседает и что-то отвечает — и потом надменно откидывает назад голову. «Марынка!» — чуть не закричал Наливайко. Это она встряхивает так головой, как молодая норовистая лошадка!.. Как она попала сюда? в это знатное общество?..

Наливайко со страхом и тоской следил за Марынкой. Если бы она знала, что он лежит тут на земле и смотрит на нее! «Чудно! — вздохнул он про себя. — Может, то вовсе и не Марынка?..»

Еще чуднее было то, что девушка в палатах, казалось, услышала его, — она вдруг остановилась и с минуту как будто прислушивалась, подняв брови. Потом она сказала что-то своему кавалеру, он поклонился и отошел от нее в сторону, и она быстро побежала по зале, ловко извиваясь и скользя между танцующими парами. Вот она уже спускается по лестнице, быстро перебирая маленькими, в белых атласных туфельках и белых чулочках, ножками; лакеи расступаются перед ней, раскрывают обе половинки тяжелой парадной двери, — и она переступает порог, пугливо озираясь в темноте...

Она идет, колыхая на ходу широким кринолином, поеживаясь от ночной сырости голыми плечами. После ярко-

го света палат она здесь ничего не видит в темноте и тихо спрашивает:

— Где ты, Корнию?..

Наливайко поднимается, удивленно смотрит на нее. Что за чудо! Неужто это в самом деле Марынка?..

— Я здесь... — говорит он и, чтобы проверить, не ошибается ли он, спрашивает:

— То ты, Марынка?

Девушка бежит на его голос, кладет ему на плечи руки. От нее сладко пахнет панскими духами.

— Я не Марынка! — шепчет она, тихо смеясь. — Я — панна Мария, Кочубеева дочка!..

Наливайко усмехается. Его не так-то легко сбить с толку! Он знает, что Кочубей был при Петре Великом, а Разумовский — при Екатерине Второй, — откуда же в этом дворце могла взяться Мария Кочубей?..

Теперь он хорошо видит, что это Марынка, только одетая в панское платье. Но он не спорит; пусть она будет панна Мария, если ей так хочется... Он тихонько смеется и осторожно целует ее лицо и голые холодные плечи...

Девушка вся прижимается к нему и тоже целует его. Но ее тело вдруг начинает дрожать, и она испуганно говорит:

— Ой, страшно, Корнию!..

Во дворце музыка сразу умолкает, и там во всех залах чувствуется смятение, все бегут куда-то, кричат, машут руками, живым потоком несутся по лестнице, вниз, обгоняя друг друга.

— То за мной... — шепчет девушка. — Боюсь!..

Она цепляется за Наливайко, вся трепещет от страха, слабая, как степная былинка.

— Возьми, унеси меня!.. — умоляет она его. — Бежим, Корнию!..

У Наливайко тоже от страха холодеет сердце. Его ноги онемели, он не может двинуться с места. Он чувствует, что тут им обоим конец — и ничего не может сделать, только со всей силы прижимает к себе дрожащую девушку...

А двери дворца уже распахнулись, и оттуда длинной вереницей бегут люди. Впереди всех мчится кавалер в го-

лубом кафтане и лиловых панталонах. За ним с шумом, похожим на вой бури, несутся паны и панны.

— Отдай дивчину! — голосят они на разные лады. — Она не твоя, наша!..

Со стоном отрывается девушка от Наливайко. К ней подскакивает ее кавалер и, кланяясь, точно приглашая на танец, берет ее за руку. И все сразу затихают. Наливайко стоит с опущенными руками и ждет, что будет дальше...

Во дворце снова гремит музыка; гости графа Разумовского выстраиваются в пары, пустив вперед девушку, похожую на Марынку, с ее кавалером, и плавно, торжественно шествуют обратно ко дворцу, кланяясь и приседая. Танцуя, они входят во дворец, поднимаются по лестнице, вливаются в залы. Но музыка становится все тише, яркий свет понемногу меркнет, и фигуры пляшущих словно тают, принимая легкие, призрачные очертания. Это уже не люди, а призраки, целый рой теней, реющих в тумане умирающей музыки и гаснущего света. Они медленно рассеиваются и исчезают в серых сумерках предутреннего часа. И только из одного окна кто-то кивает еще золотоволосой головой и машет белой рукой, прощаясь... «Марынка ли то была?» — думает Наливайко, весь охваченный тоской и страхом...

— Марынка! — кричит он кивающей из окна золотоволосой головке.

— Марынка! — несется оттуда отчетливым эхо...

Наливайко открывает глаза — и с удивлением смотрит перед собой, шурясь от яркого света.

Солнце уже высоко стоит в небе и жарит вовсю. Что-то большое, темное заслоняет от Наливайко солнечный свет. Он поднимает голову — и видит склонившегося над ним — Бурбу. Тот со злобой шурит на него свои желтые глаза и говорит, скаля зубы:

— Я тебе покажу Марынку!..

Наливайко быстро становится на ноги, еще не совсем придя в себя от сна. Но он хорошо выспался, чувствует большую силу в теле — и от драки с Бурбой не прочь. Он готов биться с ним за Марынку не на жизнь, а на смерть...

— Что? — спрашивает он, сжимая кулаки. — Мало получил? Еще хочешь?..

Бурба хорошо знает свою силу, но он уже хорошо знаком и с кулаками Наливайко; он хмуро косится на его руки и со злобой оглядывает его сухую крепкую фигуру.

— Добре, что ты прокинулся, — мрачно говорит он, — а то бы тебе уж не встать!..

— Го-го-го! — задорно смеется Наливайко. — Попробуй еще поволочиться за Марынкой!..

И он выразительно показывает ему свои здоровенные черные кулаки.

Бурба тоже смеется — своим блеющим бараньим смехом.

— Еще посмотрим, чей верх будет! — говорит он, плюет в сторону, поворачивается и идет прочь.

Наливайко тоже плюет — и уходит в другую сторону...

Они расходятся, так и не подравшись; у обоих сильно чешутся руки, и оба жалеют, что дело ничем не кончилось. Уже на приличном расстоянии друг от друга они вдруг сразу оборачиваются и грозят один другому кулаком. При следующей встрече — им наверно уже драки не миновать...

Наливайко спускается с холма; у него за ночь высохло в горле, и он думает — где бы ему чего-нибудь попить? У первой хаты, которой начинается узкая улочка, дверь открыта и оттуда вкусно пахнет горячим выпеченным тестом. Это — баба Фочиха печет бублики, которыми она снабжает весь Батурин и даже Конотоп. Здесь Наливайко получает крынку топленого молока с толстым слоем густых желтых сливок и вязку румяных, сдобных, еще горячих бубликов...

В чистой хате уютно и так тепло от жарко натопленной «грубы», в которой Фочиха печет бублики, что у Наливайко по лицу градом катится пот. Он пьет молоко и смотрит, как Фочиха с дочкой Наталкой делают бублики. Наталка — красивая шестнадцатилетняя девушка, такая же пухлая, румяная и сдобная, как те бублики, которые ее мать то и дело вынимает из печи. Около дочки стоит на перевернутом табурете корыто с тестом, она берет оттуда по куску, выкатывает его, режет на равные части и лепит бублики.

Фочиха бросает их в котел с кипящей водой, потом вынимает оттуда, нанизывает на палочку и выкладывает правильными рядами на длинную доску, которую и вдвигает в пышущую жаром печь; спустя минуту она переворачивает уже зарумянившиеся с одной стороны бублики и снова отправляет их в печь на такое же время, после чего аппетитно вспухшие бублики летят с наклоненной доски прямо в корзину, стоящую у печи. Маленькая девочка, лет восьми, Гарпына, сиротинка, одетая как взрослая баба — в широкую кофту и длинную до пола юбку, сидит на полу у корзинки и нанизывает бублики на мочальную веревочку, связывая их по два-три десятка вместе. Работа кипит уже давно, с раннего утра, и все лавки по стенам завалены горами вязок из постных, сахарных, сдобных бубликов...

Наливайко с удовольствием смотрит на Фочиху, красивую, еще молодую, чернобровую, с серьезным, строгим лицом женщину, любит ее и Наталкой, ее тяжелой каштановой косой на широкой крепкой спине и белыми, голыми до локтей, ловкими руками. Ему приятно от этой теплоты, насыщенной запахом горячего печеного теста; он смеется, весело скаля белые зубы.

— Я и не знал, — говорит он, — что Наталка такая мастерица! Ай да дивчина!

— А как же! — отзывается у печи Фочиха. — Без нее, как без рук...

Наталка от похвал густо краснеет и закрывает голый рукой глаза. Наливайко становится еще веселее.

— Ай-яй! — стыдит он ее. — Дивчине замуж пора, а она Бог зна чего соромится...

Из красных щек Наталки, кажется, сейчас так вот и брызнет кровь. Она совсем отворачивается от него, чтобы вытереть выступившие на ресницах от смущения слезы.

— Ну чего? — укоризненно говорит ей мать. — Только время даром тратишь!..

— Та чего ж он зачипает! — капризно возражает Наталка, надув свои пухлые губы.

Она снова принимается за работу, все еще красная, с мокрыми ресницами, и обиженно прибавляет:

— Пускай идет до своей Марынки суховеевой!...

Наливайко сразу становится скучно, не по себе; он поникает головой и тихо говорит:

— Знал бы, где Марынка — к ней бы пошел!..

Наталка низко потупляется; кровь сбегает с ее лица, и оно становится белым, как тесто, которое она мнет в руках...

— Заходил пьяный Синенос, — отзывается Фочиха, сочувственно глядя на чумака, — так он тут балакал что-то про Марынку, та я не разобрала...

— До млыну деда Порскала уехала... — замечает, не поднимая головы, Наталка...

— Эге ж. Должно быть, что так...

Наливайко вдруг срывается с места, точно его кто спихнул с лавки, бросает на стол пятак за молоко и бублики и бежит к двери. Наталка сердито, сдвинув брови, смотрит ему вслед; старуха качает головой и бормочет про себя:

— От бидна голова! Нагадал тягаться с самим чертом!..

Наталке не жалко Наливайко; он совсем «сдурел», и ей от него ничего не надо. Ей досадно только, что он смеется над ней и не видит, что она уже совсем взрослая дивчина и ей тоже хочется, чтобы о ней кто-нибудь думал... Ее брови раздвигаются, синие глаза мечтательно туманятся, — и она долго без толку мнет и раскатывает один и тот же кусок теста...

А бублики в печи горят, и Фочиха вспоминает о них тогда, когда от них остается только уголь...

XXIV

Новое столкновение

Несколько дней тому назад Наливайко купил себе у рыбака Пищика старый челнок, чтобы ездить рыбу ловить; он высмолил его хорошенько, законопатил дыры и щели, врыл в песок столбик и крепко привязал к нему лодку.

Нужно было еще купить разных крючков и рыболовных снастей, да у него все времени не было. Теперь он шел к Сейму, чтобы испробовать свой челн: если он не даст течи, то можно будет на нем поехать к мельнице Тараса Порскала и повидать там Марынку.

Но челна на том месте, где он привязал его, не оказалось, и даже столбик был выворочен и унесен. В некотором отдалении по реке плыл кто-то в челне, изо всех сил работая веслом то с одной, то с другой стороны лодки. Наливайко узнал свой челн: он блестел на солнце свежей, только что просохшей смолой. Мужик, сидевший в челне, был дюжий, его широкая спина показалась Наливайко очень знакомой. Он приложил руки трубой ко рту и крикнул:

— Гоп-гоп!.. Давай човен!..

Тот оглянулся. В солнечном свете ярко засияла широкая рыжая борода. Ага, это Бурба! Наливайко яростно угрозил ему кулаками. Тот засмеялся, сверкнув зубами, отвернулся и еще быстрее заработал веслом. Челн пошел широкими скачками, запрыгав по воде от сильных толчков, и скоро скрылся за высоким мысом Ровчака...

Наливайко скрипел зубами от злости, — досадно было, что пропал челнок; Бурба теперь так запрячет его, что едва ли удастся отыскать. Да и на мельницу к Марынке не пришлось съездить...

Солнце пекло уже во всю силу своего летнего зноя. Наливайко снял свой брилли и вытер рукавом рубахи мокрый лоб и шею. До мельницы было версты три, пока он туда дойдет — Марынка уж домой уедет; а может, ее там вовсе и нет и Синенос выдумал, что она туда поехала!..

Он постоял у реки, подумал — и пошел домой. В скрипициной хате было прохладно — от земляного пола и полумрака: маленькие окошечки давали совсем мало света. Он лег на лавку, подложив под голову свитку.

У окна и под потолком гудели мухи; в скрипициной половине раздавались голоса, пиликала скрипка. Наливайко разбирала сонная одурь, он то задремывал, то просыпался; голоса гудели беспрерывно...

— То ж и оно... Выпьем, чтоб дома не журились...

— Та выпьем...

— Ну, давай Боже...

— Давай Боже...

За стеной слышался звон посуды, бульканье водки, наливаемой из бутылки в стаканы. Пьяные, хриплые голоса звучали как будто где-то далеко-далеко.

— То ж ты и был!—упрямо повторял густой бас.— Я ж сам видал!..

— А может, и не я! — с хитрецей возражал Скрипица.

— Та не бреши! Кто ж у нас на скрипке играет, как не ты?

— А еще Янкель-музыкант!..

— Так то ж Янкель, а то ты! Разве ж я не знаю Янкеля?

— Может, и знаешь, та не узнал...

— Так ты ж сам рассказывал, как вел до Городища Марынку!..

Но Скрипица продолжал упираться, виляя:

— Кто знает, чи то я был, чи жид Янкель.. Выпьем лучше горилки!..

— Та выпьем...

— Ну, давай Боже...

— Давай Боже...

Наливайко сквозь сон слушал этот разговор; он дремал, а в голове у него тревожно шевелилось: «Так то Скрипица водил к Бурбе Марынку!..» Еще не очнувшись совсем, он встал, сел на лавке, протер глаза. За стеной разговор продолжался, но уже трудно было что-нибудь разобрать в пьяном гуле голосов...

Спустя минуту Наливайко уже тряс Скрипицу за ворот свитки, словно хотел вытрясти из него душу.

— Зачем водил Марынку в Городище?..

Скрипица бормотал что-то несвязное, не понимая, чего от него хотят; его голова моталась в разные стороны, все тело вихлялось, как пустой мешок. Он старательно придерживал свою скрипку, о которой, даже будучи мертвецки пьяным, никогда не забывал.

А его собеседник, колбасник Синенос, испуганный внезапным нападением Наливайко, заливался пьяными слезами и просил:

— Не бей нас, добрый человек... Разве ж мы виноваты? То Бурба, чтоб ему подавиться, напустил нечистую силу! Ей-Богу ж, он!.. Та ось и Давидко-паромщик скажет!..

В приоткрывшейся двери торчала голова Давидки в рыжем котелке; он поманил к себе пальцем Наливайко и сказал, приподымая над головой шляпу:

— А чи можно господину Наливайко два слова сказать?..

От Скрипицы ничего нельзя было добиться, и Наливайко бросил его и вышел к Давидке за дверь. Тот снова снял свой котелок и низко поклонился. Он скороговоркой зашептал:

— Есть хата для вас. Добрая хата. Можно задаром купить, накажи меня Бог!

— Чья хата?

— Та Паци Бубенко. Он в Конотопе торгует железом, так ему хаты совсем не надо...

Наливайко взял свой бриль и пошел смотреть хату...

Усадьба Паци Бубенко была расположена на холме, немного пониже развалин дворца. С горы был виден Сейм, луга, раскинувшиеся за ним. Чисто вымазанная мелом, с обведенными синей краской окошечками, с новой соломенной крышей, хата весело глядела из зелени сада, окружавшего ее со всех сторон; в палисаднике, у крыльца и под окнами пышно цвели мальвы, поднимаясь до самой крыши своими высокими стеблями, усыпанными большими белыми, лиловыми, желтыми и красными цветами.

Внутри в хате было чисто, светло, земляные полы гладко вымазаны глиной, стены чисто выбелены, печь разрисована охрой, суриком и синькой. Во дворе, кроме хаты, еще были клуня, сарай, закут для свиней, ледник, все, как полагается в добром хозяйстве.

Наливайко, в сопровождении Давидки и самого Паци Бубенко, хитрого хохла, одетого по-городскому в пиджак и фуражку, с висящими вниз по-хохлацки усами, подробно все осмотрел, узнал цену, подумал немного и сказал:

— Добре. Красненькую сбавишь — магарыч мой!..

— Пойдем до Стокоза — там и побалакаем, — сказал Паця, хитро подмигнув своими живыми глазами, бегавшими под нависшими бровями, как мыши.

Они втроем пошли к Стокозу...

Кто больше был доволен — Бубенко, что выгодно продал хату, Наливайко — что купил себе, наконец, дом, или Давидка, заработавший в этом деле несколько рублей — трудно было сказать. Но выпито у Стокоза по этому поводу было много. К тому времени, когда уже нужно было запереть шинок — Паця был совершенно пьян и никак не мог встать с места; Давидка тоже был сильно навеселе и с трудом владел своими руками и ногами; он все повторял, радостно смеясь, трясая своей рыжей, козлиной бородкой:

— Уй, Боже мой, что скажет моя Ривеле!... Это ж совсем не еврейское дело — пить горилку!..

А Наливайко держался крепко; он пил не меньше Пацы, но казался совсем трезвым, только лицо его становилось все более хмурым. Он думал о Марынке — ее бы хозяйкой в его новую хату! И от того, что на это было мало надежды — ему становилось скучно и тяжело...

Паця Бубенко так и остался ночевать в шинке, Давидка, качаясь и путаясь в своем длиннополом сюртуке, побрел домой к Сейму; Наливайко потянулся к Черному ставу...

Луна стояла высоко в темном небе, и под ней быстро пробегали дымные облака, отчего казалось, что и она бежала, только в другую сторону. За бесконечными плетнями, огораживающими сады, тихо шелестели листьями деревья; там, казалось, кто-то прятался и высматривал из темной глубины, перебегая с места на место...

У суховеевой хаты, как и вчера, никого не было, дверь была заперта, никто не стоял на крыльце под навесом. Не повел ли опять Скрипица Марынку к Бурбе?..

Наливайко пошел прямо к Городищу. Руки у него сильно зудели и кулаки сами сжимались. Но до Городища он так не добрался: он встретил Бурбу у ворот кочубеевского сада.

Они остановились один против другого с таким видом, словно целый день только и искали друг друга; каждый смерил глазами противника и усмехнулся, как будто хотел сказать: ага, попался, наконец!.. Потом они оба нахмурились, глаза заматали исподлобья искры...

Между ними было не больше двух аршин расстояния; некоторое время ни тот, ни другой не делали никаких попыток подойти ближе. Только зорко, напряженно следили друг за другом, чтобы не пропустить ни одного движения противника.

— Зачем утнал човен? — хмуро спросил Наливайко, сбрасывая с одного плеча свитку и уже приготавливаясь к бою.

— Но видал я твоего човна! — ответил Бурба, злобно и хитро блеснув глазами из-под нависших бровей.

Он слегка ослабил стягивавший его живот красный пояс и сдвинул на затылок шапку, желая показать этим, что и он готов к драке.

Наливайко выставил вперед правую ногу; Бурба сделал то же.

— Не видал?—сказал Наливайко с иронической усмешкой.— Может, скажешь, что то не ты выдернул столб, к которому был привязан човен?..

Бурба тихо засмеялся своим гогочущим смехом; он уже решил, что не стоит больше «отбрехиваться» и прямо заявил, нагло уставившись в своего врага тяжелыми, злыми глазами, подвинув вперед и левую ногу:

— А хоть и я! Так что?..

— А то, — сказал Наливайко, тоже выдвинув левую ногу, — что я тебе за то все кости переломая! Слыхал?..

Бурба склонил набок голову и посмотрел на него так, точно раздумывал — сможет ли Наливайко переломать ему кости. Он еще больше ослабил на животе пояс, чувствуя, что дело близится к драке, и спокойно сказал:

— То я слыхал, та руки дуже коротки!..

Наливайко уже с трудом сдерживал себя. Но он чувствовал, что их переговоры еще не подошли к концу: что-то главное еще не было сказано, после чего уже можно было бы перейти к решительным действиям. Он только снова вы-

ставил вперед правую ногу, что тотчас же не замедлил сделать и Бурба, осторожно следивший за малейшим его движением, и сказал, понижая от злости голос:

— У Черного става достало рук — и тут достанет!..

— Го-го-го! — засмеялся Бурба, оскаливая свои волчьи зубы. — Зараз получишь сдачу в потылицу, чтоб было чем Марынку сгадать!..

Наливайко как будто только того и ждал, чтобы Бурба упомянул о Марынке. Это являлось той гранью, за которой уже излишни были всякие разговоры. Он сразу подступил вплотную к противнику, так что тот должен был на полшага отступить назад.

— Ну так держись! — придушенным от ярости голосом сказал Наливайко. — От тебе раз!.. — он размахнулся и со всей силы ударил Бурбу по уху, так что у того шапка съехала на другое ухо. — А ось тебе и два! — и он снова ударил его по тому же самому месту...

Бурба не остался у него в долгу и тоже ударил его по уху, сбив у него с головы бриль.

— Дуже прыткий! — сказал Бурба хрипло и вторично ударил его в то же ухо. — На, съешь, та подавись!..

Наливайко тычком двинул его кулаком в нижнюю челюсть, под бороду, так что голова Бурбы, словно оторванная, мотнулась назад, почти коснувшись затылком спины. Это был страшный, жестокий удар: огромное тело Бурбы, потеряв равновесие, грохнулось на землю.

Наливайко тотчас же насел на него верхом, но Бурба извернулся, выскользнул из-под его ног — и они, сцепившись, покатались по пыльной дороге...

На этот раз счастье изменило Наливайко: оглушенный ударом по голове, он сразу потерял способность сопротивляться и только беспомощно барахтался, сжатый, как железными тисками, руками и ногами Бурбы. Не прошло и минуты, как он уже лежал, спутанный по рукам и ногам рукавами и полами своей же свитки. Бурба гоготал над ним своим бараньим смехом:

— Го-го-го! Скажи Марынке, пускай пошукает кавалера подужче!..

И он ткнул связанного чумака в бок своим тяжелым, с подкованным каблуком, чоботом...

XXV

Тревожная ночь

В кочубеевском доме было тихо, темно. Ганка давно уже спала крепким молодым сном, свернувшись клубком на своей постели; а старухе Христине не спалось, — ее мучили разные страхи. С той страшной ночи в Гирявке, когда чуть ли не на ее глазах убили человека, ей по ночам мерещились всякие ужасы, и она засыпала только на рассвете. Она лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к тишине дома и сада, вздрагивая при малейшем шелесте листьев за окном, треске подломившейся сухой ветви, шорохе растущей в молчании ночи травы...

Около полуночи за садом, на дороге, слышались какие-то голоса, словно двое или трое мужчин громко о чем-то спорили. Старуха поднялась, села и стала слушать...

Скоро, однако, голоса умолкли. Христина долго прислушивалась, крестясь и беззвучно шевеля губами, уставившись на светлевшее лунной ночью окно. Ей вдруг слышались странные звуки — не то человек засмеялся, не то баран заблеял, — и она вся затряслась в невыразимом ужасе...

Кто-то открыл калитку, вошел в сад; тяжелые шаги за скрипели на дорожке, обогнули дом — и затихли. Вслед за этим раздался тихий, осторожный лязг железа и скрип открываемой двери погреба. Потом опять заскрипели шаги, уже удаляясь от дома...

— Ганка!.. Ганочка!.. — испуганно окликнула старуха дочь.

Девушка проснулась и открыла глаза. Она удивилась, увидев мать сидящей на постели.

— Чего вы, мамо?..

— Тссс... — сказала старуха, подняв к ней дрожащую руку.

В саду снова слышались шаги; опять кто-то, тяжело ступая, шел к дому. Старуха сидела, не шевелясь, глядя на дочь полными страха глазами...

Ганка быстро спустила на пол босые ноги; мать замахала на нее руками.

— Не ходи, Ганночку... — торопливо зашептала она, вся трепеща. — То ж он, тот самый...

— Кто, мамо?

— Тссс...

Шагов уже не было слышно: они затихли в погребе.

Где-то внизу, под полом, раздался гул, точно там бросили что-то тяжелое, потом слышался протяжный стон и опять это отвратительное баранье блеянье.

— Слышишь? — спросила шепотом старуха, закрывая глаза, почти лишаясь чувств от страха. — Как в Гиравке...

Ганка слабо пошевелила побелевшими губами, но не издала ни звука. Ее лицо стало совершенно белым...

Тяжелые шаги в саду уже удалялись от дома по направлению к воротам. Глухо стукнула калитка — и все стихло. Но мать и дочь долго еще сидели на постелях, скованные страхом...

В селе пели первые петухи.

Эти странные птицы и теперь, как в древние времена, таинственно чуя приближение ночи, вдруг просыпались и кричали — ровно в двенадцать часов, точно предупреждая о недремлющих ночных темных силах, враждебных человеку. Просыпается неведомо отчего петух, хлопает крыльями и посылает в тьму ночи охрипшим от сна голосом свой протяжный, таинственный, Бог знает чем вызванный и что означающий крик. Где-то далеко-далеко ему отвечает другой, точно заслышав весть опасности. На крик второго откликается третий, потом четвертый, пятый — и вот по всему селу, во всех дворах, уже многоголосым и разноголосым хором поют петухи, эти странные птицы, так таинственно чующие полночь, зловещий час, отмеченный в сказках и суеверных сказаниях о ночных кознях нечистой силы. Они поют минуты две-три, оглашая сонную, ночную деревенскую тишь бодрими, звонкими, предостерегающими голо-

сами и потом, точно совершив важное дело, затихают и засыпают, чтобы ровно через два часа снова проснуться и кричать. Умолкают они не все сразу, а постепенно, убавляя число голосов в том же порядке, как и начинали свое пение и, наконец, раздается последний, хриплый, рвущийся крик старого петуха, которому уже никто не отвечает, точно он дал знак к молчанию. Иногда, спустя несколько минут, вдруг неожиданно зазвенит где-нибудь тонкий, одинокий голос совсем молодого, еще неопытного петушка, — но он тотчас же сконфуженно умолкает, обескураженный глубоким молчанием уже заснувших товарищей...

В деревне люди так привыкают к ночному пению петухов, что вовсе и не слышат его и не просыпаются от него. А старухе Марусевич и Ганке пришлось в эту ночь прослушать их все три раза. После вторых петухов мать и дочь уже лежали в своих постелях, успокоившись, но все еще напряженно прислушивались, — не зазвучат ли опять в саду шаги и этот ужасный смех, так напугавший их, походивший на тот, какой они слышали на хуторе Коваля в ту ночь, когда он был зарезан.

Прошел час — ничего больше не было слышно. Ганка заснула, свернувшись в клубок, разметав по подушке свои черные волосы. Старуха тоже стала задремывать...

Рассвет, тихо забрезживший в окне, застал их снова сидящими в постелях: третьи петухи только что замолкли, и в наступившей тишине ясно слышались стоны, несшиеся с небольшими промежутками из-под пола. Казалось, кто-то там умирал, мучаясь в последних предсмертных судорогах...

Стоны эти, впрочем, скоро прекратились и несколько минут было тихо. Потом послышались глухие шаги — и внезапно раздался громкий стук: кто-то колотил кулаками в дверь погребя.

— Ой, Боже!.. — вскрикнула Ганка, вся вздрогнув...

Похоже было на то, что человек умер и уже мертвецом встал и забился о дверь...

В саду уже возился на огуречных грядках дядька Панас. Он услышал стук и подошел к двери погребя.

— А кто там стучится? — раздался его хриплый, пропойный бас. — Чего надо?..

Слышно было, как загремел наружный железный за-
сов, потом опять послышался голос Панаса, удивленно про-
тянувшего:

— Тю-у! То ты, Корнию?..

— Эге ж, я! — отвечал кто-то громко и сердито...

Эти голоса звучали так обыкновенно, буднично, что все страхи девушки и старухи сразу рассеялись. Ганка спрыгнула с постели в одной рубашке и побежала к окну. Она увидела, как из-за угла дома вышел Наливайко, без шляпы, с висевшей на одном плече свиткой. Панас ему что-то говорил, но тот отвернулся и нетерпеливо отмахнулся от него рукой. Глаза Наливайко вдруг уставились на окно, в которое смотрела Ганка...

Они с минуту глядели друг на друга. Лицо Наливайко, сначала хмурое, сердитое, точно посветлело, брови удивленно поднялись и легкая, кривая усмешка задержала его усы. Он смотрел на Ганку не мигая, большими глазами, точно Бог знает что увидел в ней. Ганка невольно оглядела себя — и тут только увидела, что у нее рубашка «разхристана» и видны обе ее смуглые, круглые груди. Она покраснела до слез и даже тихонько вскрикнула от стыда. Запахнув на груди рубашку, она отодвинулась в сторону от окна. Теперь ей видна была только спина Наливайко, который медленно шел к калитке, слегка прихрамывая на одну ногу...

XXVI

Скрипица и Марынка

Целый день отлеживался Наливайко после неудачной драки с Бурбой. Лежал он не столько оттого, что у него все тело было избито здоровыми кулаками и сапогами Бурбы, сколько от бессильной ярости, от которой у него даже со-

сало под сердцем. Досаднее всего было то, что Бурба бросил его в подвал кочубеевского дома как барана — со связанными руками и ногами и заткнутым концом свитки ртом; ему долго пришлось там барахтаться и кататься по земле, пока он освободился от своих пут. Это, конечно, Бурбе даром не пройдет, но пока самолюбие Наливайко сильно страдало. Что подумает о нем Ганка? Что скажет Марынка?..

При мысли о Марынке у него потемнело в глазах: гордая девушка теперь не захочет даже и разговаривать с ним!..

Он целый день так и не вставал с лавки. Только поздно вечером вышел из хаты, купил себе в лавке Стеси новый бриль и пошел искать Бурбу. Нужно было немедленно смыть с себя позор прошлой ночи, пока еще весть о нем не распространилась по всему Батурину...

Но ему не удалось встретить Бурбу, хотя он прошел по конотопской дороге почти до самого Мазепова Городища. Он увидел только Скрипицу, который плелся, пошатываясь, к Батурину.

— Чи не видал Бурбу, дядько? — крикнул ему Наливайко.

Скрипица, не останавливаясь, на ходу махнул смычком в сторону Городища и пошел дальше, переваливаясь на путавшихся ногах с одного края дороги на другой...

Наливайко раздумывал: в Городище Бурба, при помощи своего работника, мог легко одолеть его, — не поискать ли лучше с ним встречи в другом месте?..

И он к Бурбе не пошел, а свернул к кочубеевскому саду. Если Ганка еще не спит — он расскажет ей, как было дело. Слишком много он выпил вчера с Пацей водки, а то Бурбе пришлось бы ползти к его Чертову Городищу с переломанными руками и ногами!..

В кочубеевском доме, однако, уже было темно. Наливайко перелез через тын, тихонько добрался до крыльца и присел на ступени. Он устал, на душе у него было скверно...

Ночь прошла уже росой по деревьям и травам, и они тихо блестели в лунном свете свежими каплями и дышали прохладой. Там, за плетеным ивовым тыном сада, на ко-

нотопской дороге и в полях — стоял светлый, весь серебристый от луны, прозрачный сумрак, в котором видны были каждая колея и кочка на дороге, каждый кустик репейника и куриной слепоты в поле; а в саду, среди старых верб, вязов и лип, было так темно, что даже прорывавшиеся сквозь их листву тонкие лучи лунного сияния, серебрившие то отдельный лист, то былинку на земле — ничего не могли сделать, и тьма оставалась глухой и непроницаемой, как стена.

В тихом шорохе, шепоте, неясном движении тут чувствовалась какая-то ночная жизнь, невнятная, непонятная; казалось, неподвижные днем, травы и деревья теперь тихо перемещались, меняясь местами, вытягивались вверх, росли скрытно от человеческого взора...

Аллея, начинавшаяся у крыльца дома, сразу уходила в тьму и там пропадала, точно скрывалась в черную пропасть.

Наливайко раздумывал: сколько лет уже растут эти деревья, стоит этот дом? Должно быть, немало десятков, а может, и сотен лет! При Кочубее эти деревья не были еще так развесисты и густы и в лунную ночь здесь, наверно, было все видно. И тут, как и во дворце графа Разумовского, тоже бывали разные знатные паны и панны...

Когда-то, говорят, Мария Кочубей жила в этом доме, сбегала по этим ступеням и уходила в эту аллею в глубь сада, к своему любимому дубу, который и теперь еще стоял там — старый, огромный, с высохшими, крючковатыми, толстыми ветвями, так и слывающий под именем «дуба Марии». Наливайко ясно представилась в аллее тонкая девичья фигура, торопливо бегущая по саду проворными ножками, испуганно озиравшаяся по сторонам большими глазами; ему даже казалось, что он в самом деле видит там девушку, и он напряженно, с волнением вглядывался в сумрак сада, следя за ее быстрым бегом. Она пропала где-то в отдалении, но он тотчас же увидел ее совсем близко, — она выглядывала из-за толстого дерева в двух шагах от крыльца.

Несмотря на темноту, он хорошо видел ее бледное лицо со страдальчески поднятыми бровями над широко рас-

крытыми, безумными, ярко горевшими глазами, с искривленным болезненной улыбкой ртом. Она была похожа на ту девушку, которую он видел во сне у развалин, но в ней было еще что-то другое, напоминавшее скорее всего сумасшедшую Любку-выхрестку.

— Может, то Марынка? — пробормотал про себя Наливайко, удивленно разглядывая ее.

Девушка, как будто услышав его, покачала головой.

— Нет, я не Марынка... — тихо сказала она. — Ты меня не знаешь. Я—панна Мария...

— Пускай так! — сказал Наливайко, пожимая плечами. — Только чудно что-то, чтобы покойница ходила по леваде, та еще и говорила...

Панна Мария грустно засмеялась.

— Меня бросил Мазепа и батько проклял. Как же мне лежать спокойно на дне става и не ходить по свету?..

— Мазепа — анафема! — сказал Наливайко. — Про то и попы в церкви читают... А я теперь вижу, что ты и вправду не Марынка...

Девушка закрыла лицо руками и заплакала...

Позади Наливайко закрипела дверь — и панна Мария вдруг пропала...

Он поднял отяжелевшую от дремоты голову — но сон все еще как будто продолжался: теплые девичьи руки вдруг обвили сзади его шею.

— Ты уж тут? — удивился Наливайко. — Какая ж ты проворная!..

— То я, Ганка! — зазвенел у него над ухом горячий шепот. — Мать заснула, а я... не могу... Хорошо, что ты пришел...

— Так то ты! — разочарованно сказал Наливайко. — А я думал..

— Что? Что ты думал?..

Ганка выпрямилась и подобрала руки под шаль, висевшую на ее плечах.

— Знаю, о ком ты думал! — сердито, с обидой, сказала она. — Не туда попал! Иди до Черного става!..

Наливайко поднялся. Ганка стояла перед ним полуодетая, босая, с жалко искривленными губами, с тяжело дышащей под шалью грудью.

— Верно, что не туда... — сказал он, хмуро поглядев на нее из-под брилля, и вдруг криво усмехнулся. — А я тебя видел утром...

Ганка сделала быстрое движение руками, точно хотела закрыть ими от стыда лицо — и от этого движения с ее плеч упала шаль, и ее грудь обнажилась. Она совсем потерялась и опустила руки, коротко, прерывисто дыша...

Наливайко все с той же кривой усмешкой посмотрел на ее грудь и нерешительно протянул к ней руку. Девушка вдруг спохватилась, торопливо запахнула на груди сорочку, накрыв обе груди сложенными накрест руками. Он взял ее, однако, за плечи и потянул к себе...

— Оставь... Не надо... — испуганно зашептала Ганка, слабо сопротивляясь, жарко дыша ему в лицо полураскрытым, с опустившимися углами губ ртом.

Наливайко сильно стиснул ее в руках, — она тихо застонала и закинула назад голову, закатив глаза, точно теряя сознание. Но он тотчас же оттолкнул ее от себя-

— Не надо — так и не надо! — сказал он с сердцем — и быстро сошел с крыльца...

От его резкого движения Ганка невольно качнулась вперед и, не удержавшись, сбежала за ним со ступеней. Он даже не оглянулся, шагая прямо через грядки к калитке...

Ганка вернулась на крыльцо, опустилась на ступени и жалобно заплакала, тихонько приговаривая:

— Ой, мамо... Ой, мамо моя!...

А Наливайко пошел к Черному ставу...

От суховеевой хаты на дороге лежала темная широкая тень; под навесом было совсем темно, и там опять никого не было. Он тихонько позвал:

— Марынка...

Никто не откликнулся; в хате не слышно было ни движения, ни шороха. Наливайко поднялся на крыльцо и постучал в стекло окна; но и на стук никто не отозвался. Только дворовый пес Енотка, услышав стук, вскочил на плетень

и, держась за него передними лапами, залаял охрипшим, простуженным голосом, да гуси испуганно, тревожно загоготали во дворе.

Тут только Наливайко заметил висевший на дверях замок. Он дернул его — замок открылся. В Батуристине не боятся воров, потому что их вовсе там не бывает, и вешают на дверь замок только для того, чтобы показать, что хозяев нет дома. Наливайко снял замок, открыв дверь, и вошел в сени.

В окно марынкиной комнаты смотрела луна. Несмятая постель девушки была покрыта белым тканевым одеялом; чистые, прохладные наволочки на взбитых подушках пахли мылом, речной водой, солнечным воздухом, на котором они сушились. Марынка здесь, видимо, не спала одну-две ночи, — от подушек даже не пахло ее волосами. Значит, правда, что она уехала к деду на «млын»...

Наливайко снова повесил замок на дверь и пошел через весь Батурина к Сейму, на мельницу Тараса Порскалы. Если ему не удастся повидать Марынку теперь же, ночью, — ему придется подождать там до утра...

В селе лаяли собаки, стрекотали кузнечики, — а на Сейме его обняло ясной, прозрачной речной тишиной, в которой изредка лишь слышались всплески проснувшейся рыбы да тонко и прозрачно какие-то далекие звуки реяли в лунном воздухе над тихо катившимся Сеймом.

Наливайко сначала и не обратил внимания на эти звуки; только когда они, точно приближаясь, зазвенели громче и яснее — он остановился и прислушался. И тогда он вдруг увидел, что с той стороны Ровчака какой-то человек вошел на мост; он шел и играл на скрипке, и его-то музыка и звенела так нежно в ночном воздухе над Сеймом. Что это за чудак бродит тут один и играет среди ночи?..

Наливайко ступил на мост и пошел ему навстречу. На середине моста он невольно посторонился, чтобы дать тому дорогу. Теперь он уже узнал, что это был Скрипица. Пьяный Скрипица шел ночью через мост и играл на скрипке, — в этом не было ничего необыкновенного: мало ли какие фантазии могут прийти в голову пьяному человеку!..

Он прошел мимо чумака нетвердыми, шатающимися шагами, склонив голову набок, к самой скрипке, и пилил струны смычком с закрытыми глазами. Можно было подумать, что он сильно пьян, — но Наливайко никогда не приходилось слышать, чтобы Скрипица играл так чисто и нежно; под его смычком струны так пели, словно это и не была вовсе его полуразбитая сосновая скрипка, которая прежде так отчаянно рипела и визжала. Наливайко даже стало жутко: он ведь знал, что этот старый пьяница так играть не мог. Тут дело было нечисто...

Самое странное, однако, было еще впереди. Проводив глазами Скрипицу, Наливайко обернулся в другую сторону, услышав позади себя легкие шаги. И тут он увидел Марынку, полуголую, в одной рубашке, босую, с рассыпанными по плечам волосами. Она шла по мосту с протянутыми вперед руками, с поднятым к луне лицом; ее глаза были закрыты, губы искривлены тоской и страхом, ресницы и щеки смочены слезами. Видно было, что она ничего не слышала, не понимала; она спала и во сне плакала. Какая-то неведомая сила подняла ее с постели и повела спящую, полуголую — и она не могла остановиться, не могла проснуться...

— Марынка! — тихо, в ужасе, сказал Наливайко...

Марынка дрогнула всем телом, как будто ее сзади хлестнули кнутом, и остановилась. Ее руки опустились, ресницы испуганно забились над глазами, по лицу пробежала темная тень, еще более искривившая ей рот. Она как будто прислушивалась, вся дрожа, с недоумением и страхом...

А скрипка впереди пела, не умолкая, точно звала за собой — и Марынка снова пошла, простирая к кому-то руки, ступая своими босыми, белыми ногами по разбитым доскам старого моста осторожно и неуверенно, как ходят слепые, боящиеся за каждый свой шаг.

Она прошла мимо Наливайко — и он остался стоять на месте, остолбенев от удивления и страха. Что за наваждение! Если это не чертовщина, так что же это такое?..

Скрипица и Марынка были уже далеко за мостом и поднимались в гору, по главной улице Батурина, когда он, наконец, пришел в себя и двинулся за ними...

XXVII

Черт

Пир у Бурбы был в самом разгаре, когда внезапно вспомнили о Скрипице, которого за столом, среди пирующих, не оказалось. Вспомнили о нем потому, что между Синеносом и толстым фельдшером Гущей возник спор, которого разрешить без Скрипицы, вернее — без его музыки, никак нельзя было. Гуща недавно был в Конотопе в театре, где его поразили два молодца, с большим искусством танцевавшие гопака. Фельдшер тщетно пытался рассказать об этом гопаке: у него заплетался язык и слов не хватало для того, чтобы дать хоть приблизительное представление об этом удивительном гопаке. Он разводил руками и, закатывая под лоб глаза, с упоением говорил:

— От то гопак, так гопак! И сказать не можно!.. Видал я на свете всякого, а такого еще не видал. Так, сучи дети, танцуют, так танцуют, аж меня всего забрало та скрючило. Не можно сидеть на месте, та й годи, ноги сами так и крутятся! Я уж и руки в боки взял, не могу удержаться, от что хочешь, та кто-то потянул меня сзади за свитку и тихесенько, с сердцем, сказал: «Сидайте, дядько, бо через вас не видно!». А как же, говорю, тут усидишь, когда они, матери их бис, так и выворачивают, будто сам черт их за чоботы дергает!.. «А вы все ж сидайте, говорит, а то стражника буду гукать!..» Ну, я и сел. Сижу себе, только ногами топочу, аж за сердце взяло от того гопака. От то танцуют, так танцуют! Ну, ну!..

Синенос, совсем пьяный, красный, как рак, с сине-багровым носом, молча слушал его, мигая своими маленькими, заплывшими жиром, посоловелыми глазами, и ки-

вал головой, икая от подступавшей к горлу пьяной тошноты. Когда Гуща умолк, беспомощно, в глубоком изумлении перед искусством конотопских танцоров разведя руками, Синенос покрутил носом, не головой, а именно только своим толстым, пестрым носом, как это умел делать только он, когда хотел выразить недовольство или презрение, и, выждав подлиннее промежуток между двумя икотами, мрачно сказал, недоуменно уставившись глазами на свой стакан, который четверился перед ним и ставил его в затруднительное положение, так как он уже несколько раз пытался взять его и никак не мог разобрать, который из них настоящий:

— Не велика важность! Я еще лучше станцую!..

Широкое тело Гущи все затряслось от беззвучного смеха; он замахал на Синеноса обеими руками.

— От так так!.. Хе-хе-хе! Хи-хи-хи-хи! Хо-хохо-хо!..

Синенос снова нацелился на свой стакан и опять, не поймав его, обиженно сказал:

— Ей же Богу станцую! От тогда и порегочешься!..

— Где ж тебе так станцевать! — смеялся Гуща. — Ты и ступать как нужно для гопака не умеешь!..

— А вот и умею! — стоял на своем Синенос; он махнул по столу рукой, точно ловил муху, задел, наконец, свой стакан и опрокинул его.

— Сто чертей батьке его! — выругался он, рассердившись. — Чтоб я да гопака не станцевал! Не дождетесь вы того!..

— Куды ж тебе, Синенос! — дразнил его Гуща. — Разве у печки с колбасами, да под кочергой Домахи, так то ж будет не гопад, а черт зна что!..

Синенос окончательно вышел из себя; его нос засиял красным цветом, как у сильно рассерженного индюка. Он встал и, придерживаясь руками за стол, гаркнул на всю хату:

— Гей! Музыки! Гопака, сто чертей батькови и матери их!..

Жена его, Домаха, сидевшая позади, потянула его за полу свитки, сердито зашипев:

— Та сиди, черт пьяный! От еще танцор выискался!..

Колбасник отмахнулся от нее назад рукой, сердито буркнув:

— Брысь, видьма, пока я тебе твой чертячий хвост не отцупал!..

— Пускай Скрипица играет гопака! — сказал кто-то из гостей.

Сразу загалдело несколько голосов:

— Эге ж! Где ж Скрипица?

— Та нема Скрипицы!

— Куда ж он девался?..

Все недоуменно смотрели друг на друга и на пустое место, где недавно сидел Скрипица. Он как будто провалился сквозь землю или сами черти унесли его в пекло. Никто не видел, чтобы он выходил из-за стола: без помощи нечистой силы он ни как не мог скрыться так незаметно!..

Недоумение, а за ним и страх побежали вдоль столов, покрывая лица бледностью. Красное лицо Синеноса стало совсем белым, даже багровый нос его принял лишь бледно-фиолетовый оттенок. Колбасник забыл уже о гопаке, его губы прыгали и выговаривали только:

— Бу... бу... бу...

Тут все заметили Бурбу, точно выросшего среди хаты. Он стоял, заложив руки за свой красный кушак, и поводил во все стороны тяжелыми, злыми глазами; его рыжие усы шевелились от дергавшейся под ними усмешки...

— Зараз будет Скрипица! — сказал он, хитро подмигнув одним глазом. — Уже он за Городищем!..

В хате сразу стало тихо. Лица гостей еще больше побелели и вытянулись. Все слушали, затаив дыхание. Где-то далеко-далеко не то звенели тонкие стеклянные колокольчики, не то пел кто-то нежным детским голоском, не то птица какая-то ночная летела в высоком небе с грустным, призывным щебетанием. А Бурба стоял теперь с опущенными глазами, тоже слушая, и всем видом своим точно говорил, что он знает, что сейчас должно произойти. Его губы под усами все еще дергались скрытой усмешкой...

Странные звуки приближались, становились все ясней. Скоро уже можно было разобрать, что это пела скрипка на конотопской дороге. Кто-то из гостей сказал про себя:

— Дуже добре грає, будто і не Скрипица...

— Тсссс... — раздалось со всех сторон...

Бурба поднял голову, угрюмо обвел глазами гостей, сверкнув из-под бровей злым огоньком, и снова опустил голову, прислушиваясь к музыке...

В наступившей тишине слышно было, как на дворе у хаты сонно шелестели листьями от ночного ветерка тополя. Прошло две-три минуты в томительном ожидании. Музыка вдруг зазвучала совсем близко, громко и отчетливо: она раздавалась уже в самом Городище; игравший шел прямо к хате...

Еще несколько секунд — и по ступеням крыльца затопали тяжелые сапоги, певучие звуки скрипки ворвались в хату и, точно звенящие мухи, запутавшиеся в паутине паука, забились у стен, в углах, под потолком.

Где-то под столом завывала собака Бурбы — глухим, не собачьим, почти человеческим голосом. Какая-то женщина тихо вскрикнула:

— Ой, мати рідна!..

У Синеноса громко лязгнули зубы...

В дверь, тяжело пошатываясь, ввалился Скрипица, не переставая играть на скрипке. В первую минуту у всех вырвался вздох облегчения: то было не Бог знает что, а в самом деле Скрипица. Но лицо Скрипицы было желтое, страшное, точно он пришел с того света, и глаза у него были, как у мертвеца, закрыты, — и от этого страх не только не рассеялся, но еще больше сгустился. К тому же собака Бурбы, услышав музыку в самой хате, взывала еще громче, протяжней, заунывней. Главное же, в чем заключался весь ужас, было то, что дело, по-видимому, не кончалось одним Скрипицей: Бурба стоял лицом к двери, и по тому, как он смотрел туда, было видно, что там еще кто-то шел к хате; Скрипица же, посторонившись к косяку, продолжал пилить на скрипке, словно встречая кого-то своей музыкой...

Лицо музыканта дергалось гримасами; заметно было, что его руки и пальцы устали, и он напрягался из последних сил. Открыв глаза, он посмотрел на Бурбу красными, пьяными, по-собачьи покорными глазами — и с новой силой, точно почерпнутой им в тяжелом, жестком взгляде Бурбы, ударил смычком по струнам. Но руки его дрожали и не слушались — и музыка звучала все тише и тише, слабее и умирая...

На крыльце послышался слабый топот босых ног — и в дверях появилось белое привидение. Оно переступило порог и остановилось с поднятым кверху лицом и протянутыми вперед руками. Бледное, спящее, с закрытыми глазами лицо дрогнуло, и губы жалостно искривились; испуганно забили над глазами трепетные ресницы...

А Скрипица, казалось, и сам умирал вместе со своей музыкой. Квинта на его скрипке вдруг слабо звякнула, он зашатался — и опустил руки вниз со смычком и скрипкой. Прислонившись к косяку двери, он смотрел на Бурбу со страхом, как смотрит провинившаяся собака, ожидающая побоев...

Вместе с музыкой как будто рассеялись и навеянные ею дьявольские чары. Белое привидение покачнулось и застопорилось, — и все гости разом зашевелились и заговорили. Что говорили — в общем гуле трудно было разобрать. Слышно было только псаломщикову Одарку, которая рвалась вперед и кричала не своим голосом:

— Марынка!.. То ж моя Марынка!.. О, Боже ж мой!..

Несколько голосов громко повторили за ней:

— Эге ж, и вправду Марынка!..

И вдруг загремел хриплый голос Бурбы, покрывший весь поднявшийся в хате шум:

— Та играй же, собачий сын!.. Убью!..

Скрипица опустил голову, но не пошевелился. Марынка от крика Бурбы вся задрожала, как осиновый лист, захваченный в бурю ветром. Она испуганно откинулась назад и— проснулась...

С невыразимым изумлением повела она вокруг себя глазами.

Что это за сборище? Куда она попала?..

Ее взгляд остановился на Бурбе — и она точно вся окаменела. Он смотрел на нее в упор своими тяжелыми, злыми глазами, и его усы дергались страшной усмешкой, откровенно с боку волчьих зубы. В широких зрачках Марынки темным блеском засветился ужас. Она с тихим стоном отвела от него глаза — и увидела свою мать, пробиравшуюся к ней между столами и скамьями.

— Мамо! Ой, мамо!.. — крикнула она слабым, придушенным от страха голосом.

Вместе с этим криком из ее груди как будто вылетела и сама жизнь: лицо и руки Марынки стали совсем белыми, как бумага, голова склонилась на плечо и она без звука повалилась на пол.

— Я здесь, дочко! — крикнула Одарка, работая во все стороны локтями...

Но Марынка ее уже не слышала...

В хате стало тихо...

— Го-го-го-го-го!.. — послышался тихий смех, похожий на бляенье барана...

Это смеялся Бурба.

Все со страхом обернулись к нему.

Его лицо было страшно, — оно стало почти черным, рыжие волосы, усы и борода торчали во все стороны и окружали его точно огнем, глаза, налившиеся кровью, крутились в орбитах и, казалось, вылазили на лоб...

Кто-то из гостей тихонько, в ужасе, вскрикнул:

— Черт! дывиться — черт!..

И тотчас же по всем столам волной прокатился глухой рокот, в котором только и можно было разобрать слово: «черт». Оно повторялось все громче и громче, и этот шум похож был на ночной ропот древесных листьев, захваченных внезапно сорвавшимся ураганным вихрем...

Внимание всех было обращено только на Бурбу — и никто не видел, как в дверях хаты появился Наливайко! Один Бурба смотрел на него своими крутящимися от злобы глазами и кусал своими волчьими зубами конец рыжего уса.

— Га, нечистая сила! — сказал Наливайко, засучивая рукава. — Чертовой музыкой девчат заманиваешь!..

Он кинул вокруг себя беглый взгляд — не помешает ли ему что-нибудь как следует размахнуться — и тут увидел распростертую на полу Марынку. Бурба поймал его взгляд и быстрым скачком стал между ним и девушкой.

— Не рушь дивчину! — хрипло сказал он, тоже засучивая рукава...

Глухой ропот гостей, уже почуявших драку, сразу вырос в сплошной гул криков. Злоба и ненависть уже не сдерживались страхом; кричали бессмысленно, пьяно, влезая на скамьи и столы, бестолково размахивая руками.

— Го-го-го!..

— Бейте его!..

— Гукайте стражников!..

— Держи!..

Поднялась невообразимая буча. Валились скамьи, столы, сыпалась на пол посуда, гремя и разбиваясь вдребезги. Бурба, оглянувшись кругом с оскаленными зубами, размахнулся и грузно ударил Наливайко в шею. Тот хотел ответить ему тем же, но в стеснившей его кругом толпе уже невозможно было размахнуться; Бурба воспользовался его минутным замешательством и отпрыгнул в сторону; его красный кушак и синяя шапка мелькнули в дверях и исчезли. Наливайко только погрозил ему кулаком...

Около бесчувственной Марынки голосила Одарка, причитая:

— Марынко, дочечко моя! Та проснись же, Господь с тобою!..

Наливайко поднял Марынку и понес из хаты в сопровождении плачущей Одарки и молча вздыхающего Сухова...

А пьяные гости продолжали неистовствовать: они почувствовали свою силу, и их ничем уже нельзя было удержать. В хате шел настоящий погром. Упустив Бурбу, успевшего куда-то ускользнуть, они ломали все, что там было — столы, скамьи, двери, окна. Но этого было мало; кто-то крикнул:

— Жги чертово гнездо! Чтоб ничего не оставалось!.. Пускай все в пекло провалится, анахвемская худоба!..

Толпа вывалила на двор — и через минуту ярким огнем запылала новая соломенная крыша городищенской усадьбы!..

В горевшей хате выла собака Бурбы...

Огонь с хаты скоро перекинулся и на сарай, соломенная крыша которого тотчас же вся вспыхнула. Из раскрытой двери сарая понеслись какие-то дикие, пронзительные крики, вой, визг.

— Черти воют! — кричали пьяные батуринцы, опасливо толпясь в некотором отдалении. — И сила ж их там, не дай Боже!..

Перед горящим сараем вдруг появился Скрипица, без шапки, испуганный, растерянный; со страхом озираясь во все стороны, он торопливо сунул кому-то свою скрипку и смычок и, перекрестившись, бросился к сараю.

— Гоп-гоп! — закричали ему из толпы. — Стой! Куда?..

Скрипица махнул рукой и исчез в раскрытой двери, откуда уже валил густой дым.

— К чертову батьке! — кричали батуринцы. — За Бурбой в пекло полез!..

— Туда и дорога!..

Но не прошло и минуты, как Скрипица появился в дверях сарая, волоча за собой пронзительно кричавшую женщину. Едва он перетащил ее за порог — как крыша сарая рухнула, выбросив в черное небо целую тучу огненных искр.

— Го-го-го-го-го!.. — восторженно заревела толпа...

Скрипица оттащил женщину от пожарища на несколько шагов и бросил ее: он сделал свое дело, остальное его не касалось. Взяв свою скрипку, он сунул ее под свитку и пошел прочь от Городища...

Женщина поднялась на ноги и дико озиралась кругом. Она была полуголая, лишь кой-где прикрытая лохмотьями, с висящими на спине и груди, точно черными змеями, длинными космами волос. Крадучись и пугливо озираясь,

она шмыгнула в толпу и, выбравшись за ворота Городища, побежала в темное, ночное поле...

Пожар затихал, огонь слабел, пожрав в усадьбе все, что можно было. Вместе с хатой сгорели и тополя, стоявшие у крыльца...

Батуринцы расходились, уже тихие, наполовину отрезвившиеся, смущенные своей самовольной расправой с ненавистным Городищем. О причинах пожара все, точно сговорившись, хранили глубокое молчание; полиция так и не узнала, отчего сгорело «чертово гнездо»...

XXVIII

Порченная

Марынка заболела; ее болезнь Гуца назвал горячкой. Почти целый месяц она пролежала в сильном жару, без сознания, бредила, никого не узнавая. Ее бред был полон ужаса; она часто поминала имя Бурбы, ломала пальцы и кричала:

— Спасите меня, мамо моя, тату мой!..

Гуца применил к болезни Марынки весь свой скудный запас медицинских познаний — прописал ей касторку, хину, салициловый натр, — но эти средства нисколько не помогли; Марынка продолжала метаться в жару, и ее положение с каждым днем ухудшалось. Фельдшер беспомощно разводил руками и гадал:

— Кто его знает, что оно такое: чи то тиф, чи воспаление мозга?..

Он, во всяком случае, счел своим долгом предупредить Суховея и его жену, что болезнь их дочери серьезная и Марынка может умереть и что потому он ответственности на себя не берет.

— Оно, конечно, если позвать доктора Муху из Конотопы,— сказал он, — так от этого лучше не станет. Что док-

тор, что фельдшер — все одно. А только надо позвать, чтобы люди чего не говорили...

Псаломщик и псаломщица, однако, решили доктора Муху не приглашать, — это должно было стоить «богато грошей», а Гуца, по их мнению, был ничем не хуже доктора.

— Обойдется и так, если Бог захочет... — говорила Одарка. — А помрет — значит, так Богу и надо...

Марынка все же не померла; Бог знает, каким чудом удалось ей побороть смертельный недуг, овладевший ее слабым, хрупким телом. Через три с лишним недели жар вдруг стал спадать, и к ней вернулось сознание. С того дня она стала медленно поправляться...

За время болезни она сильно исхудала, в ее теле, казалось, остались лишь кожа да кости, а лицо как будто состояло из одних только глаз, больших, потемневших, ставших почти фиолетовыми. Одарка удивлялась и только покачивала головой, глядя на дочь.

— От так очи! — говорила она. — Сроду еще таких не видала!..

Поднявшись на ноги, Марынка снова стала проситься к деду на мельницу. Она боялась Черного става, кочубеевского сада, боялась вечерней тишины, тумана, поднимавшегося ночами над стоячей водой; едва наступал вечер — ей уже чудились у хаты тяжелые шаги Бурбы, его отвратительный смех. Она забивалась в угол своей постели, зарывалась головой в подушку и, вся дрожа от ужаса, плакала, ломая пальцы. Пришлось Суховею снова запрячь свою сильную кобылу и везти Марынку на млын деда Порскала...

Перед самым марынкиным отъездом пришел Наливайко. Он давно уже не был у Черного става, только через людей узнавал о марынкиной болезни. За это время он съездил с Пацей Бубенко в Конотоп, где справил купчую крепость на купленную им хату, и устроил на главной улице кожевенную лавку. Старая Одарка теперь благоволила к нему: у него была своя хата и торговля — он стал настоящим женихом, за которого не стыдно было отдать даже дочку псаломщика...

Наливайко снял шапку — новую, из коричневых смушек, купленную в Конотопе — и низко поклонился Марынке. Он держал теперь себя степенно, как подобает хозяину и купцу.

— Здорово, Марынка! — сказал он важно, чуть усмехаясь. — Узнала?..

Девушка вспыхнула; тонкое, исхудавшее лицо ее нежно порозовело. Она опустила голову и тихо сказала:

— Узнала...

Но тут уже вся важность Наливайко пропала. Он помолчал, переступил с ноги на ногу. Сдвинув шапку на затылок, он вытер рукавом со лба пот и сказал, глядя в сторону:

— Марынко...

Марынка, не поднимая головы, отозвалась чуть слышно:

— Что?..

— Может, у тебя, Марынка, и думки про меня не было?. Девушка покачала головой.

— Я — порченная... — тихо пролепетала она...

— Брось, Марынка. Я про то и забыл...

— Может, и забыл, да потом вспомнишь...

— Не вспомню. Разве ж я сам не знаю...

Марынка все качала головой.

— Я скоро помру... — сказала она, подняв на него вдруг залившиеся слезами глаза: — Возьми лучше Ганку Марусевич...

Кто-то уже рассказал ей, что Ганка была у него в лавке, покупала товар на черевички. Наливайко насупился и тихо сказал:

— Люди брешут Бог зна что. Не слушай их, Марынка...

Щеки Марынки побелели, глава блеснула злым огоньком...

— Может, и не брешут! — сказала она с внезапным раздражением. — Женихаться с Ганкой — так и иди до ней!..

— Бог с тобой, Марынка! Что ты...

Но тут Одарка сердито закричала из сеней:

— Марынко! Чего копаешься? Батько уже на возе!..

Она заглянула в дверь, увидела Наливайко и уже сладким голосом пропела:

— А, Корнию! Я и не знала, что ты тут!.. От спасибо, что не забываешь нас с дочкой!..

Наливайко хмуро пробормотал:

— За сундуком пришел. Надо до хаты снести...

— Может, посидишь? Суховой и подождать может...

— Чего там ждать? — сердито отозвалась Марынка. — И то уж вечер...

Наливайко вытащил из угла свой сундучок и взвалил его себе на плечо.

— Ну, так и то... — сказал он смущенно. — Доброй дороги, Марынка...

Марынка ничего не ответила. Отвернувшись, она сердито увязывала свой узелок в дорогу...

Одарка вышла за Наливайко на крыльцо и там шепотком сказала:

— Больная, от то все и сердится... Приходи до нас, еще побалакаем...

Наливайко молча кивнул головой...

Он снял с плеча сундук, чтобы взять его поудобнее и, пока возился с ним — со двора выехала суховеева гарба. Марынка съежилась в углу повозки, вся закутанная в материнскую шаль, и даже не взглянула на него...

Мельница Тараса Порскалы теперь не работала: старое зерно уже было смолото, а нового еще не было. Везде стояла глубокая, тишина — и в самой мельнице, и на сукновалке и даже на плотине, где задерживаемая поднятой загородкой вода бежала через край и щели тихими, ленивыми струями. Огромные, мшистые колеса высохли и позеленели, застыв на своих неподвижных осях...

Дед Тарас за время марынкиной болезни сильно изменился; глубокая старость как-то сразу скрутила его, согнула его высокую фигуру вдвое, совсем позеленила его боро-

ду. Он одряхлел, едва двигался, уже плохо слышал и видел. Выйдя к Марынке, он долго, пристально смотрел на нее, не узнавая ее.

— То я, дидусю! Марынка! — сказала девушка, с жалостью глядя на старика.

Он закивал головой, как будто узнал наконец ее, но сморщенное пергаментное лицо его оставалось неподвижным и бесстрастным, как у покойника. «Совсем как у святого угодника!» — подумала Марынка о его лице, походившем на лица святых на старых, потемневших от времени и лампадной копоти иконах.

Дед повернулся и пошел назад к мельнице, так ничего и не сказав Марынке.

Слабые женщины часто чувствуют себя бодрыми и сильными, когда около них находится кто-нибудь еще более слабый, нуждающийся в их помощи и заботах. Застав деда таким беспомощным, Марынка забыла о своей собственной слабости; она возилась на кухне у печи вместе с бабой Бамбиркой, убирала его комнату, стирала его рубахи, сама каждый день одевала его в чистую сорочку.

Дед теперь ничего не делал, часто ложился на свою лавку под образами и ждал смерти; иногда, встав, он подходил к часам, висевшим на стене, и долго стоял перед ними, глядя на жестяной, размалеванный пестрыми цветами циферблат своими полуслепыми, потухшими глазами. Он уже не мог разобрать, какой час указывали стрелки, и только слушал звучное движение маятника, точно считал минуты, которые ему еще оставалось прожить.

Марынка большую часть дня и ночи проводила около деда, которому чуть ли не каждую минуту нужна была ее помощь. Все ее страхи как-то сами собой отошли, рассеялись; она погрузилась в покой тихой, простой, немудреной жизни, в которой мирно, незаметно текли день за днем. Она скоро так окрепла и поздоровела, что Одарка, навестившая ее через две недели, руками развела от удивления:

— Как яблочко медовое! — сказала она, любуясь похорошевшей дочкой, на щеках которой теперь играл нежный розовый румянец, какого у нее не было и до болезни...

Псаломщица приехала на мельницу, по-видимому, с каким-то делом; Марынка чувствовала это и ждала, когда та заговорит. Одарка, помогая ей в дедовом хозяйстве, только к вечеру разговорилась. Она стала рассказывать о том, какая у Наливайко хорошая хата, какой он примерный хозяин, как он хорошо торгует в своей кожевенной лавке — даже из окрестных деревень приезжают к нему мужики за кожами для хомутов и чоботов.

— Уже и корову купал... — сообщила она, искоса следя за дочкой. — Хозяйство такое, что лучше и не надо. Только жинки нема. А сказать правду — так за него всякая пойдет. Захотел бы — так и Ганку Марусевич взял бы за себя. Та он не хочет ее. Может, приглядел кого получше...

Старуха хитро посмотрела на дочку. Марынка отвернулась и, казалось, не слушала мать. Но ее щеки рдели, выдавая ее волнение. Она разглаживала руками на коленях передник — и ее пальцы дрожали.

— Скучно тут у деда, Марынка. Ты и людей совсем не видишь, — сказала словно между прочим Одарка. — Корнию б сказать, чтоб пришел побалакать. А?..

С марынкиных щек вдруг сразу сбежала краска. Она рассердилась, вся затряслась от злости, даже ногами затопала.

— Что вы с Корнием вашим прицепились? Никого мне не надо!..

И она заплакала, закрыв глаза передником...

— Тю! — удивилась Одарка. — Я ж только так... Не хочешь — и не надо...

Хитрая старуха, потерпев неудачу с Наливайко, пробовала заговорить о Бурбе, стараясь выпытать — нет ли чего тут. Она рассказала Марынке о пожаре в Городише, о том, что Бурба с того дня пропал, словно он сгорел там, вместе со своей хатой, а с ним вместе исчез и Скрипица.

Марынка теперь слушала мать уже спокойно. Потом, не сказав ни слова, она пошла к деду, которого пора было покормить и уложить спать.

Возясь со стариком, она все время тихо, про себя, улыбалась: теперь ей нечего было, бояться — страшное Городище сгорело и Бурбы в Батурине больше не было!..

Одарка так ни с чем и уехала. Но ей удалось все же смутить покой Марынки...

XXIX

Ночные гости

Тоска, впережку со злостью, овладели Марынкой. Она ругалась на кухне с бабой Бамбиркой, кричала на карлицу Харитынку, сердилась на деда или забивалась где-нибудь в уголке мельницы и там долго, тихо плакала. Румянец уже сбежал с ее лица, она опять похудела, ходила с красными, заплаканными глазами, с кривившимися от постоянного желания плакать губами...

Перед вечером Марынка подолгу сидела на пороге мельницы, глядя на алевшую от вечерней зари реку, на синевшие в сумерках прозрачные дали прибрежных лугов. Ночами она не спала, все прислушивалась к чему-то, вставала и выходила за дверь, точно она и здесь колдовала, как у Черного става, ожидая кого-то упорно и терпеливо...

Никто не приходил...

Раз ночью Марынке почудилось, что кто-то ходит у мельницы. Она поднялась, прислушалась. За стеной громко, вперебой, кричали сверчки, чуть булькала вода у плотины под колесами, где-то на реке заунывно, протяжно выводила какая-то ночная водяная птица: и-гууу... и-гууу... Больше ничего не было слышно...

Дед на лавке лежал совершенно неподвижно, сложив на груди руки; желтый огонек лампадки, горевшей над его головой, слабо освещал его желтое, спокойное, как у мертвеца, лицо. Он в самом деле похож был на покойника со своим прозрачным заострившимся носом и приподнятой

кверху белой бородой. Марынка наклонилась к нему — он как будто не дышал.

— Диду! Дидусю!.. — испуганно позвала она его, трясая за плечо.

Дед замычал и открыл глаза. Бессмысленно, невидящими глазами посмотрел он на нее и снова опустил на них темные, тяжелые веки. Он продолжал спать — тем же тихим, беззвучным сном, похожим на смерть. Жизнь едва теплилась в его иссохшем отжившем теле...

Марынка оставила его и растерянно посмотрела кругом. Ей стало страшно. Она никогда еще не была такой покинутой, одинокой. Господи, спаси и помилуй!..

Она опустилась на колени посреди комнаты лицом к красному углу и прижалась лбом к полу. Но тут ее обняла дрожь: ей почудилось, что кто-то стоит за окном и смотрит на нее сквозь черные стекла. Слова молитвы замерли на ее губах. Она поднялась, — но в окне была только черная тьма...

Марынка подумала, что нужно было бы пойти в церковь помолиться, может, от этого ей станет легче. Она не легла в постель, а ощупью прошла через мельницу и открыла дверь. Ее охватило холодной предутренней речной сыростью. Низко за рекой висела красная ущербленная луна, почти не дававшая света. Сверчки умолкли, замолчала и водяная птица. Странная предрассветная тишина висела над водой и берегами Сейма...

Рубашка на Марынке сразу стала влажной и прилипла к телу. Зябко поводя плечами, она посмотрела во все стороны, — около мельницы никого не было. Марынке не хотелось идти в душную комнату деда, — все равно ей не заснуть. Она стояла в дверях, дрожа от сырости, и все смотрела — не притаился ли тут кто-нибудь.

Вдруг она увидела какую-то темную тень, прижавшуюся к стене.

— Кто тут? — тихо спросила она.

Тень зашевелилась и двинулась к ней.

— То я... С вечера тебя дожидаясь...

Марынка вздрогнула и подалась вперед. Это был Наливайко.

— Чего ты пришел?

— Не могу больше, Марынка... Прямо хоть в домовину!..

Он подвинулся к ней совсем близко и смотрел на нее с жалкой, кривой усмешкой. Ему, видно, приходилось трудно — у него глаза и щеки совсем запали. Марынка не отрывала от него глаз и тяжело, взволнованно дышала.

— Я тоже не...

Она не договорила, положила ему руки на плечи и заплакала. Потом вдруг стала порывисто ласкать его, дрожа, задыхаясь, прижимаясь к нему трепещущей грудью. Волосы ее упали и рассыпались, сорочка на груди расстегнулась, глава налились темным, горячим блеском, губы жарко дышали...

— Тяжко... Страшно... — шептала она, цепляясь за него руками, словно боясь, чтобы он не ушел и не бросил ее одну...

Она нашла губами его губы и жадно впилась в них, схватила его руку и прижала ее к своей груди, судорожно извиваясь всем телом, тяжело опускавшимся вниз. Ее тонкие, худые руки налились необычайной силой, она упала вдруг на землю и потянула его за собой. Он испуганно, растерянно бормотал:

— Марынка... Сердце мое...

А Марынка вся билась и плакала, сама, казалось, не зная, чего хотела от него.

— О Боже!.. О, Боже ж мой!.. — стонала она, царапая его руки, напряженно приподымаясь и снова падая головой на землю...

В кустах вербняка прошел какой-то резкий шум, треснула, переломившись, ветка и раздался странный звук, точно там кто-то крякнул от злости и досады. Марынка, сразу затихнув, с силой оттолкнула от себя Наливайко и вскочила на ноги.

— Что это? — спросила она, испуганно озираясь во все стороны...

В темноте у реки как будто тихо затренькали струны не то скрипки, не то кобзы, и кто-то зашипел: тссс... Потом что-

то загудело, точно сдержанный смех, низким, хриплым басом...

Марынка вся замерла от страха, не отрывая глаз от кустов вербняка.

— То старая жаба в болоте...— сказал Наливайко. — Не бойся...

Он взял ее за руку, — но Марынка вырвалась. Она насторожилась, боязливо прислушиваясь. Ничего больше не было слышно. Только за углом мельницы робко, осторожно начал свою песню сверчок... тррр... тррр... тррр-тррр... И в самом деле заквакала у берега в трясине лягушка низким, глухим басом...

Марынка трепетала от страха. Она схватилась за ручку двери и попятилась внутрь мельницы, дрожа всем телом.

— Иди... — шепотом сказала она, отстраняя Наливайко руками. — Завтра до церкви приду...

И она захлопнула перед ним дверь и задвинула ее за собой...

Марынка легла. Ее била лихорадка, ей долго не удавалось заснуть. Ушел Наливайко или стоит там и ждет?... Ей все чудилось, что вокруг мельницы ходят люди и разговаривают. Снова там что-то звенело, тренькали струны кобзы или скрипки; и старая жаба несколько раз принималась квакать, издавая противные хриплые звуки.

Потом вдруг кто-то тихо постучал в окно. Марынка подумала, что это Наливайко все еще стоит там у мельницы и ждет, чтобы она вышла. Она набросила на себя юбку, шаль и вышла. И страшно было — и тянуло посмотреть, как он там ходит у мельницы и ждет...

Луна уже закатилась. Ярko мерцали звезды на черном небе. Берег и воды Сейма совсем слились в темноте, только по золотым змейкам отражавшихся в реке звезд видно было, что там — вода.

Около мельницы никого не было. По вербняку у берега шел шорох — не то ветер путался в кустах, не то птица ночная перепархивала с ветки на ветку...

— Кто тут? — спросила Марынка, напряженно вглядываясь в темноту.

Шорох усилился. Теперь уже ясно было слышно, что там кто-то тяжело пробирался сквозь кусты. Из вербняка вдруг вынырнули две темные фигуры, одна низкая, другая высокая. Они остановились там и о чем-то шептались...

Марынка боязливо отступила за порог и приотворила дверь, просунув голову в щель.

— Та кто тут? — уже со страхом снова спросила она.

Глаза Марынки пригляделись к темноте, и она узнала Скрипицу по его рваной свитке и шапке.

— То ты играл?

— Эге ж...

— Зачем пришел? Что тебе надо?..

Скрипица ничего не сказал и отодвинулся в сторону, оглянувшись на стоявшего позади него высокого человека. Марынку начинала бить лихорадка.

— Кто ж то с тобой? — чуть шевеля губами, спросила она шепотом.

Скрипица и на это ничего не ответил. Высокий человек шагнул из-за него вперед, и Марынка вдруг увидела два зеленых глаза, светившихся, как ночные светляки.

— Ой, Боже! — тихо вскрикнула она, отшатнувшись назад...

Дрожа с головы до ног, она со всей силы захлопнула дверь и задвинула железный засов...

У мельницы слышался тихий говор, но нельзя было ничего разобрать. Только можно было понять, что один сердился и ругался, а другой оправдывался. Скоро голоса затихли, и на воде послышался тихий плеск весел...

Марынка вернулась в дедову комнату и легла в постель. У нее от страха холодели руки и ноги. Опять он здесь! Что ей делать? куда от него спрятаться?..

Она вся дрожала... плакала. Только перед рассветом, замученная вконец тоской и страхом, заснула. И во сне ее била жестокая лихорадка...

Похищение

После пожара в Городище о Бурбе долго ничего не было слышно; недели через три до Батурина дошел слух о совершенных каким-то злодеем убийствах в селе Красном и на конотопской и бахмачанской дорогах, — и все в один голос приписывали их Бурбе.

Становой пристав совсем замотался, разъезжая по деревням в поисках за разбойником. Что злодей в этих трех преступлениях был один и тот же — указывало то, что они все сопровождались странностями, похожими одна на другую. Так, при убитом на конотопской дороге купце была найдена записка, написанная чем-то красным, по-видимому, кровью убитого: «Не виню никого, бо сам виноват...» У мужика, убитого в Красном, в его же хате, на лбу было вырезано неприличное слово; зарезанный на бахмачанской дороге черниговский помещик был раздет догола, и у него на шее висел мешочек, наполненный землей вместо вынутых из него денег. Все эти странности как бы объясняли характер и жизнь каждого из этих покойников: конотопский купец был известный мошенник, наживший на своих плутнях огромные деньги, разоривший и пустивший многих по миру; краснянский мужик славился как большой охотник до женского пола, перепортивший и в Красном и в других деревнях много девчат; черниговский помещик давал крестьянам деньги за большие проценты, благодаря которым они никогда не могли вылезти у него из долга и он в конце концов забирал у них землю.

Все это указывало на то, что душегуб был не обыкновенный разбойник; а так как о Бурбе, с самого момента его появления в Батурине, ходило много разных, самых фантастических слухов — то кто, кроме него, мог *таким образом* убить конотопского купца, краснянского мужика и черниговского помещика? Кто, как не он, стал бы проделывать такие удивительные вещи с убитыми? Конечно, толь-

ко Бурба, больше никто! В этом все были убеждены, хотя со времени пожара в Городище его так никто и не видел...

Впрочем, еще не дав затихнуть толкам о приписываемых ему злодеяниях, он вдруг внезапно объявился в Батуристине, поставив всех в тупик своим новым, неожиданным по дерзости поступком...

Первая его увидела ночью у мельницы, вместе со Скрипичей, Марынка, — а на другой день, в воскресенье, он уже осмелился показаться среди бела дня, в церкви, на виду у всех...

Марынка пришла, как обещала, в церковь, только немного запоздала к началу службы. Путь от мельницы деда был не близкий, она сильно устала и едва держалась на ногах. Наливайко там еще не было, он явился позже. Для пущей важности, он подкатил к церкви на своих «цыганчатах», запряженных в новую бричку, которую он выменял па свою чумацкую гарбу. На нем была новая свитка, висевшая, как всегда, у него на одном плече, шапка из коричневых смушек, синие шаровары, повязанные широким голубым поясом с бахромой на концах, и новые чоботы с подковами на каблуках и носках. Он отыскал в толпе Марынку, пробрался к ней и стал рядом. Марынка, увидев его, вся вспыхнула и потупилась...

Их появление вызвало в церкви взволнованное движение, несдержанный шепот; они приковали к себе всеобщее внимание. Марынке становилось неловко и даже страшно от этих ощупывавших ее со всех сторон любопытных и недоброжелательных взглядов. Она, точно стараясь избавиться от них, нетерпеливо скидывала головой, отчего мелко и рассыпчато звенели на ее белой шее стеклянные мониста и пестрым каскадом струились по плечам и спине вплетенные в косы разноцветные ленты. Она боялась поднять глаза, грудь ее тяжело вздымалась под белой, расшитой цветными шелками сорочкой, руки и ноги начинали дрожать...

Служба шла медленно, отец Хома служил, не торопясь. Он был очень стар, едва двигался и часто забывал, что ему нужно было дальше читать; он по несколько минут стоял с раскрытым ртом, вспоминая, пока ему не подсказывал дья-

кон или псаломщик.

Народа в церкви набилось так много, что стояли плечо к плечу, руку поднять нельзя было, чтобы перекреститься. В церкви становилось душно, жарко. Из купола, наполненного спертым нагретым воздухом, веяло как из жарко вытопленной печи. Лица молящихся были красны, потны. В тишине, наступавшей временами в промежутках между пением хора и чтением молитв, слышались тяжелые вздохи и шепот изнемогавших от духоты и жары женщин.

— О, Боже ж мой!.. Ох, ты, Господи Милостивый!..

Многие не выдерживали и старались протиснуться к выходу, работая плечами и руками, отчего толпа беспрерывно колыхалась, расступаясь то там, то здесь и опять смыкаясь...

Марынку толкали, оттискивали от Наливайко; он продирался к ней и становился рядом, но, спустя несколько минут, оглянувшись, она снова не видела его около себя. От духоты у нее начинала болеть голова, сердце болезненно сжималось, что-то неприятно подкатывало к горлу. С ее щек скоро сбежал румянец, губы побледнели, под глазами легла темная синева. Чувствуя приступ дурноты, она хваталась за руку Наливайко и взглядывала на него испуганными глазами. Он тихо спрашивал ее:

— Что, Марынка?..

У Марынки в глазах темнело, она отвечала, чуть шевеля губами:

— Ничего... Так...

Ей было нехорошо. Она уже жалела, что пришла в церковь. Она думала здесь помолиться, чтобы облегчить себе душу, но ни одна молитва не приходила ей в голову. Оттого, что трудно было дышать и в груди мутило — в ее душе поднимался какой-то безотчетный страх, похожий на чувство близкой смерти. Страшно было то, что в церкви так много людей, и она затеряна среди них, как песчинка в море; и то, что дымом ладана заволакивало перед глазами и лица молящихся и образа на стенах; и то, что отец Хома забывал молитвы и стоял над толпой, беспомощно трясая седой бородой; и то, что солнце, пронизывая цветные стекла

окон, прорезывало дымный воздух церкви зловещими красными и лиловыми лучами. Но еще страшнее становилось, когда умолкал хор, затихал шепот молящихся — и в церкви разливалась глубокая тишина, лишь прерываемая тяжкими вздохами старых женщин. В этой тишине чувствовалось Марынке приближение чего-то невыразимо ужасного, точно сама смерть простиралась над ней, вея в лицо холодом могилы. У нее лоб и шея покрывались холодным потом...

Служба уже подходила к концу, когда в тишину церкви, наполненную молитвой сотен дыханий, вдруг ворвалось странное смятение, неясное беспокойство. К церкви лихо подкатила таратайка, мягко гремя на стальных ресорах, глухо позвякивая подвязанными колокольчиками, — и толпа в храме заколыхалась, задвигалась. Марынка видела, как лица молившихся около нее людей обернулись к выходу, и их глаза наполнились изумлением и страхом. Сердце у Марынки упало, она вся обмерла. Она стояла, почти не дыша, боясь пошевелиться, поднять глаза. Господи, что еще будет!..

Но, казалось, ничего страшного не было. Отец Хома, после шумного многолетия, вышел к народу с крестом, и молящиеся потянулись к нему прикладываться. Сверху на колокольне весело ударили в колокола...

Марынка стала искать глазами Наливайко, — его нигде не было. Его оттерли от нее, и он где-то затерялся в толпе. Она бросилась в одну сторону, в другую — и увидела его далеко от себя: он изо всех сил работал локтями, пробираясь к ней сквозь гущу ожидавших перед крестом своей очереди...

С трудом протиснувшись к приделу, Марынка выбралась на свободное место. Вдруг кто-то сзади крепко взял ее за руку и сказал с тихим смехом:

— Попалась, дивчина! Теперь не уйдешь!..

Марынка обернулась, увидела кругом испуганные лица с большими, полными ужаса глазами, и прямо перед собой — Бурбу. Он держал ее за руку и скалил зубы отвратительным смехом.

На глаза Марынки внезапно набежала тьма, в ушах зазвенело, ноги подкосились. Бурба подхватил ее на руки и быстро понес к выходу, не глядя на растерявшихся, боязливо расступавшихся перед ним людей. Марынка уже ничего не видела и не чувствовала...

— Та пропустите ж! — раздался на всю церковь отчаянный крик...

Наливайко, бледный, как стена, пробивался в толпе к выходу, расталкивая и расшвыривая в стороны ошалевших баб и мужиков,...

Опомнившись, когда уже было поздно, батуринцы удивлялись и недоуменно разводили руками: как это никто из них не догадался задержать Бурбу, когда он выносил Марынку из церкви? Они совершенно потеряли голову, точно он околдовал их. Это можно было объяснить не иначе, как только его бесовской силой...

Вырвавшись на паперть, Наливайко увидел несшуюся во всю прыть через церковную площадь таратайку, запряженную тройкой прекрасных вороных лошадей; Бурба держал вожжи, сидя боком на передке...

— Но, чертово быдло!.. — гаркнул Наливайко и бросился опрометью к своей бричке.

Маленькие цыганские лошадки, огретые кнутом, как бешеные сорвались с места и понеслись вскачь. Наливайко едва успел на ходу вскочить в бричку...

Вслед за ним пустились в погоню за Бурбой урядник с двумя стражниками на бегунках и, верхом на пожарных лошадях, фельдшер Гуца и бакалейщик Кривохацкий. Эти двое ввязались в дело только потому, что с утра были пьяны и жаждали какой-нибудь деятельности; по площади в это время проезжала пожарная водовозня, запряженная парой костлявых одров, которыми они и завладели...

Погоня

Бурба гнал свою тройку по конотопской дороге. Он правил, стоя одним коленом на облучке своей таратайки, гикая и ухая, помахивая над головой длинным кнутом. Его вороны неслись как ветер. Десять верст до села Красного они сделали меньше чем в полчаса.

Но и цыганские лошадки Наливайко не уступали им. Он тоже стоял в бричке, погоняя лошадей, посылая Бурбе ругательства, в ответ на которые тот только оглядывался и скалил по-волчьи зубы...

Расстояние между ними все уменьшалось; у села Красного их отделяло уже друг от друга не больше двухсот сажень. Наливайко взял в сторону от дороги и поскакал прямо по полю, поросшему бурьяном. Здесь бричка его нырнула в старую межевую канаву, от толчка он слетел на землю, но тотчас же на полном ходу снова вскочил в вынырнувшую из канавы повозку. Его лошадки, точно почуяв решительную минуту, еще прибавили ходу — и скоро обогнали вороных Бурбы. Сделав крутой поворот, Наливайко вылетел на дорогу, наперерез Бурбе...

Но тут маленькая оплошность испортила все дело. Шустрые лошадки понесли с такой силой, что Наливайко не успел вовремя осадить их, и они пролетели дальше, врезавшись в высокие, стоявшие по другую сторону дороги хлеба. Мимо него с громом и звоном промчалась таратайка Бурбы.

— Держи-и-и!.. — крикнули далеко отставшие от него урядник и стражники.

— Го-го-го! — голосили во всю силу своих пьяных глоток Гуца и Кривохацкий, скакавшие вслед за бегунками на пожарных одрах...

Наливайко остервенело хлестал своих цыганчат, выбираясь из хлебов и снова вылетая на дорогу. Его лошади уже

начинали уставать, их мохнатые бока, шеи и морды были покрыты белой пеной...

Опередив его, промчались бегунки с урядником и стражниками, проскакали Гуща и Кривохацкий. Таратайка Бурбы уходила все дальше и дальше, но легкие бегунки урядника, запряженные здоровой почтовой лошадей, бравшей скорость мерным ходом, не дававшим ей быстро выдыхаться, нагоняли вороных. Еще несколько минут — и бегунки почти поравнялись с таратайкой. Урядник сделал тот же маневр, что и Наливайко — взял в сторону и, обогнав Бурбу, вышел на дорогу. Бурба в тот же момент круто, на всем ходу, так что таратайка едва не перевернулась, осадил и повернул лошадей, направив их уже не по дороге, а полем, чтобы избежать встречи с приближавшимся к нему Наливайко. Цыганчата, однако, тоже понеслись полем.

— Не давай дороги!.. — кричали сзади урядник и стражники...

Воронье, казалось, не знали устали. Да и сам Бурба, видимо, не раз бывавший в подобных переделках, не сдавал ни на одну минуту, сторожа каждое движение погони. Два раза чумацкие лошади почти сталкивались мордами с вороньими, но те тотчас же сворачивали в сторону и, обходя их, уходили, как говорится, из-под носа. Наливайко снова очутился позади Бурбы...

Гуща и Кривохацкий тоже пытались на своих клячах преградить ему дорогу, но едва он налетел — как они в страхе шарахнулись в обе стороны. Гуща слетел с лошади и распластался на земле своим жирным брюхом.

— Та держи ж, матери твоей бис! — кричал он с земли бакалейщику, барахтаясь в дорожной пыли.

— А ты что не держал, тряся твоему батькови? — злобно отвечал Кривохацкий, пиная ногами в бока заупрямившегося и не двигавшегося с места овра.

— Та коняка ледаща!.. Разве ж его, черта, удержишь?..

Гуща с трудом вскарабкался на своего коня, как ни в чем не бывало пощипывавшего траву, и они снова поскакали, переругиваясь на ходу. Они остались далеко позади всех...

Бурба гнал лошадей непрерывно, во всю мочь, и они неслись как вихрь, с каждой минутой уходя от погони все дальше и дальше. Уже выбились совсем из сил и цыганчата Наливайко, и пожарные одры, и даже конь урядника, а те, казалось, шли все быстрее и быстрее. Скоро таратайка Бурбы совсем исчезла из виду...

Было непонятно, зачем Бурба гнал лошадей назад, к Батурину, где его легко могли поймать. Но у него, как потом оказалось, были свои соображения. Когда погоня стала приближаться к селу, таратайка Бурбы вдруг вынеслась во весь опор из ворот Мазепова Городища и повернула уже на бахмачанскую дорогу. Наливайко пустился было за ней, но тотчас же разглядел, что Бурбы в таратайке уже не было. На облучке вместо него сидел его глухонемой работник Свинота, неведомо откуда взявшийся. Ясно было, что и Марынки в таратайке уже не было; ее и Бурбу нужно было искать в Городище, куда уже въезжали урядник со стражниками и Гуца с Кривохацким. Наливайко повернул туда же...

Они долго шарили по всей усадьбе, осмотрели каждую канавку, каждый кустик — Бурбы нигде не было. Случайность помогла им напасть на его след. Фельдшер и бакалейщик, разморенные погоней, присели отдохнуть на обгорелые бревна, накиданные в кучу на том месте, где раньше стоял сарай Бурбы. Под тяжестью полновесного тела Гуци куча крикнула, осела — и, к невыразимому удивлению Кривохацкого, фельдшер мгновенно куда-то исчез. Откуда-то из-под земли донесся его глухой, придушенный от страха голос:

— Ой-ой-ой!.. Ратуйте!..

Это был искусно прикрытый мусором пожарища вход в подземелье, в глубине которого барахтался толстый фельдшер, тщетно пытаясь взобраться наверх по обгорелым ступеням.

— Добре! — сказал урядник, с довольным видом погладив всем кулаком свой запорожский, висящий вниз ус. — Тут мы и пошукаем...

У Кривохацкого оказалась в кармане свечка, которую он в церкви по рассеянности сунул себе в шаровары вместо того, чтобы поставить в паникадило. С этой свечкой он и полез первый в подземелье; за ним спустились туда и остальные...

Подземный коридор казался бесконечным. Урядник и Наливайко осматривали каждое углубление в стенах, но ничего, кроме костей и черепов, не находили. Вдруг Гуца остановился, потянул носом и радостно вскрикнул:

— Стойте, хлопцы! Винный дух чую!..

В открывшейся перед ними пещере в самом деле стояли рядом десять винных бочек.

— Значит, Скрипица не брехал! — глубокомысленно заметил Кривохацкий. — А ну, попробуем чертова вина, какое оно будет на вкус...

Он вытащил из первой бочки затычку и, нацедив себе в руку, хлебнул. Его заросшее черными волосами до глаз лицо изобразило такую кислую гримасу, точно он выпил уксуса или еще чего-нибудь похуже. Из бочки текла какая-то вонючая дрянь, от которой все позатыкали носы.

Кривохацкий долго отплевывался, ругаясь:

— Га, чертяка, какое он поганое вино пьет!..

Остальные бочки были пусты...

Пошли дальше. Подземный коридор, как и рассказывал Скрипица, шел покато вниз, точно к самому сердцу земли. И не видно было ему конца. В некоторых местах он был так узок и низок, что приходилось пробираться по одному и на четвереньках, а иногда и ползком, на животе. Гуца и Кривохацкий уже начинали побаиваться — придет ли им еще когда-нибудь увидеть Божий свет.

— Хоть бы еще раз Бог дал горилки выпить, тогда можно и в домовину!.. — рассуждал сам с собой Гуца...

Скоро им, однако, преградили дорогу два больших камня. Они были наскоро и, по-видимому, совсем недавно положены здесь, потому что не успели еще вдавиться в землю.

— От так сила! — сказал урядник, удивляясь тому, кто поставил здесь эти каменные глыбы. — Тут и троем не

справиться!..

Наливайко уперся плечом в верхний камень и нажал; камень слегка пошевелинулся, но не сдвинулся с места. Он нажал еще раз — и тут открылась щель, в которую можно было, хоть и с трудом, пролезть по одному человеку.

Это был выход к Сейму — в самом низу склона горы, на которой стоял дворец Разумовского. Вокруг камней, закрывавших выход, росли густые кустарники терна, и здесь, на его колючках, Наливайко увидел клочья марынкиного платья и обрывки лент. Дальше шли по песку до Сейма следы от больших мужских сапог, — Бурба, видимо, нес на руках бесчувственную Марынку. А у самой воды ясно обозначилось на мокром песке углубление от плоского дна недавно спущенного на воду челна. Бурба успел так далеко уплыть, что его на реке уже и видно не было...

— Швыдкий черт! — сконфуженно сказал урядник, ко-со глядя на след челна и смущенно поглаживая в кулаках свои сивые усы.

— Та черт и есть! — убежденно подтвердил Гуца.— Где ж-таки человеку утоняться за чертом!..

Наливайко молча, хмуро смотрел в речную даль...

XXXII

Гроза

Поиски полиции ни к чему не привели. Наливайко две недели ездил на своих цыганчатах по берегам Сейма, до-ехал до самого Чернигова, заезжая по пути во все, даже самые маленькие деревушки и хутора, — но нигде никто не видел Бурбу; можно было в самом деле подумать, что он скрылся с Марынкой в самом чертовом пекле. Так ни с чем Наливайко и вернулся в Батурин — худой, черный, с запавшими, горевшими тоской и неуголимой злобой глазами...

Когда он, возвращаясь домой, проезжал мимо Черного става, из хаты псаломщика выбежала ему навстречу Одар-

ка, простоволосая, полусумасшедшая от горя, с выплаканными, потухшими глазами...

— Не видал Марынки? Не нашел дочки моей? — кричала она, цепляясь на бегу руками за бричку, пока лошади не стали.

— Та не видал... Не нашел... — мрачно сказал Наливайко, не глядя на нее. — Где ж ее найти? Дорог кругом богато, конца-краю не видно. Поезжай куда хочешь...

— Ой, лышенько мое! — взывала старуха, вцепившись костлявыми пальцами в свои седые, распатланные волосы. — Ой, горе мое тяжкое!..

Она села тут же на пыльной дороге и принялась причитать, раскачиваясь, из стороны в сторону:

— Мое дитятко бедное!... Сердце мое, солнышко ясное!.. Та куда ж ты запропала, донечка? Та что ж я буду делать без тебя на свете Божием?.. Ой-ой-ой-ой, тяжело сердцу, люди добрые! Лучше бы меня заховали в домовину, старую!..

Наливайко молча, угрюмо смотрел на нее, и у него самого по щекам и усам ползли слезы. Он тяжело вздохнул, вытер рукавом рубахи усы и сказал, отвернувшись:

— Та не убивайся, старая... Может, Марынка еще и вернется...

Но он сам этому не верил, не верила и старуха. Она заголосила еще громче, заливаясь слезами:

— Не вернется мое дитятко!.. Загубил злодей дивчину бедную!.. Ой, и не увидят ее больше мои оченьки!..

Наливайко с сердцем хлестнул лошадей и поехал дальше. Старуха осталась голосить на дороге. Из-за плетней ближних хат смотрели на убивавшуюся Одарку соседки, сочувственно качая головами...

Позже вышел Суховой и увел старуху в хату. Но она и там продолжала голосить, не смолкая...

С тяжелым чувством вошел Наливайко в свою хату. Зачем она ему теперь, когда нет Марынки? Он и покупал ее, думая о Марынке, что она будет здесь жить с ним, и для нее убирал стены и углы рушниками расшитыми и плахтами червонными. Что ему теперь здесь делать?..

Хата казалась совсем пустой, как бывает, когда вынесут из дома покойника. Марынка еще не жила здесь, а Наливайко уже так свyksя с тем, что она будет у него хозяйкой, что в самом деле казалось, будто она умерла и ее уже унесли отсюда на кладбище. Он постоял посреди хаты, поглядел кругом — вышел на улицу. Сел на завалинку и опустил на грудь голову...

Вечерело. Солнце уже спряталось за холмами, но последние лучи его еще горели желто-красным отсветом на колоннах разумовского дворца и на краю лежавшей за развалинами, как утрюмое чудовище, темно-синей тучи.

Жизнь в Батурине затихла, только слышно было, как остервенело лаяли где-то на спуске к Сейму собаки большим, разноголосым хором, да откуда-то издалека с поля доносилась широкая стройная песня голосистых девчат, возвращавшихся с полевых работ...

С холма спустились Ганка Марусевич и ее мать; старуха прошла дальше, а Ганка остановилась у хаты Наливайко. Она часто тут ходила — то одна, то с матерью, — злые языки говорили, что она ловила Наливайко себе в «чоловики».

— Добрый вечер, Корний! — сказала она, остановившись перед ним. — Давно не видались с тобой...

Наливайко даже не пошевелинулся, словно эти слова и не к нему вовсе относились. Смуглое лицо Ганки горячо зарделось от обиды, карие глаза блеснули досадой. Она, однако, сдержала себя и тихо, с упреком сказала:

— Прежде ходил до нас и был ласковый, а теперь, как хозяином стал, загордился, забыл совсем...

Наливайко молчал, неподвижно глядя в землю. На глазах у Ганки показались слезы. Она помолчала немного и, ничего не дождавшись, с сердцем сказала:

— Даром сердце тратишь!.. Если б Марынка не хотела — не увез бы ее Бурба...

Наливайко вздрогнул, услышав имя Марынки. Он поднял голову и тяжело посмотрел на Ганку.

— Что ты сказала про Марынку? — утрюмо спросил он. Ганка зло засмеялась.

— Одурила тебя Марынка! Вот что!..

Наливайко ничего не сказал и снова опустил голову. Видно было, что от тоски он даже и говорить не мог...

Ганка постояла в раздумье, искоса глядя на него. Ее злость уже улеглась и ей стало жалко его. Опять на ее ресницы набежали слезы. Она сказала дрожащим голосом:

— С Марынкой уже конец, Корний... А я...

Наливайко вдруг сразу поднялся с завалинки.

— Уходи! — сказал он грубо, не глядя на нее. — Что тебе до Марынки?.. Геть отсюда!..

Он повернулся и ушел в хату... Ганка с плачем бросилась догонять мать:

— Та куда ж вы ушли, мамо? Чего ж вы меня тут покинули?..

Наливайко лег на лавку, закинул руки за голову. И тут усталость взяла свое: он тотчас же заснул, как убитый. Две недели он почти не спал, гоняя днем и ночью по дорогам, из деревни в деревню, с хутора на хутор в погоне за Бурбой, и теперь сон сразил его внезапно, точно он куда-то провалился...

Еще с вечера синевшая за развалинами дворца темная туча с наступлением сумерек выдвинулась немного в небо и, остановившись, высматривала что-то и чего-то поджидала. Когда заря погасла — она стала медленно выползать, вытягиваться, поглощая одну за другой первые, едва только засиявшие звезды. Заняв полнеба, она глухо заворчала и вдруг вся озарилась яркой зарницей, точно на мгновение открыла глаза и, взглянув на притихшую землю, снова сомкнула их. Клубясь, погромыхая отдаленным громом, ежеминутно светя зигзагами зарниц, она потянулась дальше, перевалила за середину и скоро заняла все небо, от края до края, оставив только на западе узкую зеленую полоску угасшего заката...

В черной, зловещей тьме все замерло, притаилось. Умолкли собаки, затихли лягушки на Сейме. И вот — в самой середине неба белая молния разодрала пополам тучу, ярко осветив весь Батурин, — и над спящим селом грянул гром, от которого задрожала земля, зазвенели стекла в окнах хат...

Наливайко показалось во сне, что рушится небо, разверзается земля. Он проснулся, вскочил с лавки. Раскаты грома покатались дальше и затихли; снова упала глубокая тишина, в которой как будто что-то грозное готовилось, надвигалось...

Откуда-то издалека донесся неясный, глухой шум, который все близился, рос; казалось, со стороны развалин летела туча каких-то огромных птиц, со свистом рассекавших воздух бесчисленными гигантскими крыльями. С воем, гулом, ревом налетел на село бешеный ураган, хлопая ставнями окон, калитками, срывая с крыш ключья соломы, крутя по улицам столбы пыли. Вихрь прошумел, промчался — и опять стало тихо. Только деревья тревожно шелестели листьями. В селе одиноко, жалобно взывала и тотчас же умолкла, точно испугавшись своего собственного голоса, собака. Где-то близко как будто засмеялся кто-то или заплакал. Наливайко прислушался — но больше ничего не было слышно. Он нащупал в темноте дверь и вышел из хаты. Ночь была черна, непроглядна, в двух шагах ничего не было видно. В неподвижном воздухе стояла духота, парня; пахло пылью и близким дождем...

Кто-то торопливо бежал по дороге со стороны развалин, спускаясь с горы. Частые, мелкие шажки с дробным, неуверенным стуком каблучков четко раздавались в тишине. Кому тут понадобилось идти в эту пору? Наливайко вышел на дорогу, — шаги смолкли близко около него.

— Кто тут?— спросил он, поводя в темноте перед собой руками.

— Тссс... — послышался тихий шепот. — То я... Темно, дороги не видно...

— Та кто ж ты?

Белая молния опоясала полнеба ослепительным зигзагом — и Наливайко, как при свете дня, увидел перед собой Марынку, в изорванном платье, с голыми коленями и руками. Она смотрела на него большими безумными глазами, приложив палец к судорожно дергавшимся губам.

— Откуда ты, Марынка?..

Но Марынки уже не стало. Свет молнии погас — и она исчезла в темноте, которая теперь казалась еще глубже и чернее...

— Тссс... — услышал он снова ее шепот. — Я не Марынка... Я...

Дальше ничего нельзя было расслышать за глухим ворчаньем издалека набегавшего грома, походившим на грохот телеги на сухой дороге. Страшный удар грянул с середины черного неба и покатился дальше сухими, трескучими раскатами. Хлынул ливень широкий, свежий, неудержимо низвергавшийся с вышины целыми потоками вкось хлеставшей землю воды...

— А-х-ха-ха-ха-ха-ха-ха!.. — слышалось где то в стороне сквозь шум ливня — не то смех, не то плач.

Наливайко бросился туда, — но его протянутые руки не находили Марынку в черной пустоте ночи.

— А-ха-ха-ха-ха-ха!.. — раздалось уже в другой стороне, как будто за хатой.

— Где ж ты, Марынка? — крикнул Наливайко в темноту. — Отзовись!..

Теперь уже ничего не было слышно, кроме шума дождя, лившего как из ведра, бурлившего потоками, сбегавшими с горы со всех сторон вниз, к селу...

Снова ярко блеснула молния. Наливайко почудилось, что под горой метнулось что-то белое, пропало за хатой, снова забелело и опять скрылось за поворотом узкой улицы.

— Остановись! Марынка!..

Гром заглушил его крик...

Долго бушевала над Батурином гроза, освещая все село мигающими молниями и снова погружая его в беспросветную тьму, заливая улицы водой, переполнившей канавы, сотрясая землю громовыми ударами, от которых вздрагивали и как будто еще ниже приседали к земле и еще глубже уходили под свои соломенные шапки приземистые мазанки-хаты... Наливайко носился по улицам как сумасшедший, надрываясь от крика, стараясь перекричать шум ливня и тяжкие раскаты грома:

— Марынка!.. Где ты, Марынка?..
Марынка точно растаяла в черной тьме грозовой ночи...

XXXIII

Врата рая

Старый Тарас Порскала помирал на своей мельнице. Он дождался, наконец, смерти, почуяв ее приближение еще с вечера.

Его неподвижное, темное, со строго сжатыми губами лицо вдруг просветлело, точно осветилось изнутри каким-то благостным светом, глаза открылись, он пристально смотрел на сидевшую у его изголовья карлицу Харитынку, ходившую за ним с тех пор, как Бурба увез Марынку и, разжав узкие синеватые губы, сказал с бледной улыбкой, тихо радуясь:

— Моя за мною пришла... Сходи... за попом...

Он произнес это таким убежденным тоном, что Харитынке и в голову не пришло усомниться — вправду ли он умирает. Она заволновалась, засуетилась, точно в самом деле пришла для диды большая радость.

Харитынка обрядила деда в чистую рубашку, вынула из его сундука саван, восковую свечу и туфли, подлила в лампадку масла. Потом накинула на себя шаль, нагнулась к лицу деда и громко, чтобы он расслышал, сказала:

— Ты, диду, почекай помирать, я батько Хому зараз приведу! Чуешь?..

Дед кивнул головой и чуть слышно, с слабой усмешкой, едва шевеля сухими губами, сказал:

— Добре... По...чекаю...

И старик и карлица, как дети, верили в то, что можно, если нужно, «почекать» со смертью...

Не глядя на ночь, Харитынка вышла из мельницы и берегом Сейма торопливо побежала к Батурину за отцом Хомой...

Тарас Порскала остался один на мельнице. В сукновалке спал на куче овечьей шерсти работник Миколка, но его сон был так крепок, что разбудить его и поднять на ноги нельзя было никакими средствами...

Дед лежал на своей лавке под образами и тихо улыбался. Почти целый месяц, пока в его старом теле шла работа разрушения и ему было нехорошо, тяжело, больно — он знал, что это еще не смерть, и молча, скрепясь, переносил предсмертное недомогание. И вот — зловещая работа в теле окончилась — и он почувствовал необычайную легкость, ощущение сладкого отдыха, точно тела уже вовсе не было, оставалась только душа, привязанная к своемуместилищу лишь несколькими тонкими нитями, которые в последнюю минуту должны оборваться безболезненно и неощутимо. Такую легкость и радость покоя жизнь не могла дать — значит, это была — смерть...

Старик беззвучно жевал губами, смотрел, не мигая, на мелькавший на стене свет лампадки и думал. Вот он, слава Богу, помирает. Жизнь была не трудная и не легкая, только очень уж долгая: хорошо, что нельзя жить вечно и нужно когда-нибудь помирать. После него останутся тут на земле мельница, дочка Одарка, внучка Марынка, а его не будет; он уйдет к Богу в светлый рай и будет оттуда смотреть, как у Сейма вертятся колеса его мельницы и по земле ходят, в ожидании своего часа, Одарка и Марынка. Пускай они еще походят, — Бог знает, сколько кому нужно жить, когда кому время помирать. Вот, Он призвал Тараса Порскалу — значит, ему время пришло.

— Иди ко мне, сыне мой Тарасу...

— Та иду, Боже...

— А как ты идешь, сыне мой Тарасу, до Бога своего?

— А с превеликой радостью, Боже мой милый...

— Добре! За то отпускаются тебе грехи твои на веки вечные ...

— Спасибо, Боже милостивый...

В темной мельнице точно домовые заскреблись и завозились, почуяв тишину и безлюдье. Две большие крысы вбежали в комнату деда и задрались на полу, поднявшись

на задние лапки. Старик, не поворачивая головы, скосил на них глаза, строго сдвинув седые нависшие брови, и беспокойно зашевелился на лавке всем телом. Крысы, сцепившись, клубком покатались по полу, потом вдруг отпрыгнули в разные стороны и убежали в темную дверь мельницы, догоняя одна другую. Дед успокоился, снова вперил неподвижные глаза в мелькавший на стене свет лампадки и, пожевав губами, продолжал думать свои тихие предсмертные думы...

Долгая дорога до рая — и конца-краю не видно. Нужно было идти почти сто лет, чтобы дойти до него. Теперь осталось уже немного, может, всего несколько шагов. И вступит Тарас Порскала в Божий рай, и ангелы Божии будут дивиться кругом — что это за старик в белой рубахе идет по зеленым лугам рая? И спросят они его:

— Что ты за человек такой? Как попал в райские селенья?

— А я — Тарас Порскала, мельник батуринский, может, слышали? А попал я сюда через жизнь и смерть, Божьею милостью, ангелы святые...

— А что ты здесь будешь делать — в светлых лугах Божьего рая?

— А жить, как и вы, ангелы святые, вечной жизнью и радоваться...

И полетят ангелы до Бога и скажут Ему:

— Пришел к нам в рай старик неведомый, хочет здесь жить вечной жизнью и радоваться. Можно его оставить?

— А как его зовут?

— Тарас Порскала, мельник батуринский.

— Ага! Так пускай живет в моем рае вечной жизнью и радуется, Господь с ним!..

Большая зеленая муха села на желтый, заострившийся нос деда. Он свел свои полуслепые зрачки к внутренним углам глаз и уставился на муху. Тонкие, липкие лапки насекомого неприятно щекотали нос. Дед сморщил нос и лоб, зашевелился головой на подушке, — но муха не улетала. Он вздохнул и снова возвел глаза к стене, где трепыхался желтый свет лампадки. Думы текли тихие, успокаиваю-

щие, радостные, а муха продолжала сидеть на носу, потирая то передние, то задние ножки одну о другую...

Теперь дед думал о том, как много всего было в его долгой жизни. Кажется, ничего не осталось такого, о чем можно было бы, навеки уходя отсюда, пожалеть. Теперь еще только дожидаться бы отца Хому, чтобы не умереть без молитвы. Умиравшему молитва — все равно, что отправляющемуся в дорогу кусок хлеба. Без молитвы, может, и дороги к раю не найдешь и врата райские не откроются...

Длинное, иссохшее тело деда беспокойно заерзало на лавке. Что, если отец Хома опоздает, и он умрет до его прихода? А не дай Боже такой беды! Грехов много накопилось за долгую жизнь, и умереть без покаяния — вечная гибель!..

Время шло медленно, и беспокойство деда росло с каждой минутой. Он чувствовал, что силы его убывают, сердце замирает, вот-вот совсем остановится. В груди становилось как-то тесно, не во что было набрать воздуха. Старик выпячивал грудь, выгибая дугой над лавкой свою старую, костлявую спину. Но от этого не становилось легче...

Ощущения легкости и покоя теперь уже не было. Становилось нудно и страшно. В подступах смертельной агонии было что-то жуткое, внутри все холодело, на лбу выступал липкий холодный пот. Тяжелый страх смерти сжимал сердце деда. Трудно помирать даже в сто лет. Тяжко лежать и ждать, когда тело выдохнет из себя последнее дыхание жизни. Господи, помоги и помилуй!..

Яркий, ослепительный свет, внезапно ударивший сбоку, в окно, поразил деда своим неожиданным блеском. Он зажмурил глаза и весь замер от страха. Не смерть ли это блеснула ему в очи? Не отходит ли он уже в лоно Авраама, так и не покаявшись?..

Подождав немного, он открыл глаза и скосил их на окно. За стеклами по-прежнему чернела ночь. Что же это было? Ангел Божий заглянул к нему в окно или нечистый пытался похитить его душу?..

И вдруг — страшный удар, обрушившийся с неба, потряс всю мельницу; в окне испуганно задребезжали стекла...

— О-о!.. — застонал дед в смертельном ужасе, закатывая глаза под лоб...

Он не понял ни света молнии, ни удара грома, кругом него творилось что-то необычайное, точно весь свет проваливался в преисподнюю...

В наступившей тишине с бешеной быстротой приближался к мельнице глухой вой, возраставший с каждой секундой, превращавшийся в грозный рев каких-то неведомых чудовищ. Не черти ли то несутся целой стаей, Боже спаси и помилуй? Почуяли, что около Тараса Порскалы нет попа, что некому молиться за него, умирающего, перед Богом — и поднялись несметной тучей. Как визжат, воют, режут в дьявольской радости! Вот уже окружили мельницу вихрем, бегут по крыше, продираются в солому, царапаются по стенам, скребутся, как мыши, в подполье. Молитву против них надо вспомнить, молитву скорее надо прочитать!..

Дед силится вспомнить молитву, закидывает голову и поднимает глаза кверху, на образа, где слабо теплится лампадка. Глаза его плохо видят, и он различает только темные пятна старых, черных икон, точно колеблющихся в трепетном свете лампадки. Он шевелит губами, чуть слышно произнося знакомые с детства, старые слова:

— Отче наш! Иже еси...

Дальше он не помнит, — и повторяет все одно и то же. Но и этого достаточно: вой и рев проносятся над мельницей, уходят все дальше и дальше, куда-то в темноту ночи, яростно, но уже бессильно угрожая. Все затихает. Дед с глубоким вздохом облегчения закрывает глаза, сжимает губы...

Через несколько минут опять яркий блеск прорезывает тьму его опущенных, сморщенных, как кожа печеного яблока, век, и снова на крышу мельницы обрушивается тяжкий удар, с треском и грохотом, точно это весь мир рушится, ломается на куски. И вслед за этим мельницу обнимает

ровный, влажный, широкий шум, напоминающий старику весенний ледоход на Сейме. Он не понимает, что означает этот шум, но чувствует, что в нем нет ничего страшного. Свежее дыхание веет сквозь стекла окна, касается лица, рук. Дед слушает, склонив одно ухо к окну, с закрытыми глазами, — и тихо забывается. Лежит строгий, спокойный, неподвижный, погруженный в полумертвое, уже без дум, забытья...

Внезапный стук тяжелой двери мельницы пробуждает его. Он вздрагивает и открывает глаза. Кто-то идет к нему, наклоняется над ним. Полуслепые глаза старика различают темные очертания чьей-то головы. Кто это? Отец Хома? Харитынка?..

Знакомый голос кричит ему в ухо:

— Добрый вечер, дидусю!..

Лицо деда светлеет, точно теплый солнечный луч скользнул по нему.

— Ма...рынка? — спрашивает он хрипящим шепотом.

— Что с вами, диду?...

Деду трудно говорить, он делает усилие, как будто что-то проглатывая, и хрипит:

— По...мираю... Батько Хо...Хому дожидаюсь...

В его сжатые на груди, холодеющие руки втискивается какая-то твердая, круглая палка. Дед обхватывает ее своими костлявыми, скрюченными пальцами, вперив глаза на ее конец, мерцающий медленно вытягивающимся огоньком.

— Держите, дидусю, свечку! — слышит он как будто издалека доносящийся голос...

— Не на...на...до... — чуть слышно хрипит старик. — О...хо...хо...

Дед не хочет умирать без отца Хома, и он сердится, что Марынка всунула ему в руки «смертную» свечу. Но язык уже плохо повинуется ему, и руки его, помимо его воли вцепившиеся в свечу, крепко держат ее вместо того, чтобы бросить. Смутно видимый им огонек свечи колыхнется и удаляется, превращаясь в маленькую точку...

Сердце деда сжимается от тоски, страха, печали. Он умирает без поа, без молитвы; он так долго ждал смерти, думал о рае, — и вот, смерть пришла — и все пропало: врата рая перед ним не раскроются!..

Огонек свечи сгинул где-то в черной тьме, наплывшей на глаза. Грудь деда выгибается колесом, беззубый рот раскрывается, силясь глотнуть воздуха, и в старой груди что-то клокочет и хрипит. Он еще слышит далекий-далекий голос:

— Дидусю, милый!..

Но сказать уже ничего не может...

Глаза деда закатились под лоб и выгнали на сухие желтые веки две крупные слезы...

Дед отходит...

Марынка стоит перед ним — оборванная, грязная, с прилипшими к телу мокрыми волосами и платьем, и смотрит на деда большими неподвижными глазами. Ее бьет лихорадка, она дрожит, губы ее прыгают, в глазах — смертельная тоска. Она как будто уже не понимает — где она, кто это перед ней хрипит и бьется...

Грудь деда с тяжким хрипом поднимается и опускается. Он затихает и вытягивается. Зрачки глаз так и остаются у него под лбом, и он смотрит перед собой страшными, пустыми, синеватыми белками...

Марынка в страхе озирается по сторонам, вдруг вскрикивает и опрометью бежит через мельницу к двери, точно ее ждет там какое-то важное дело. Она выскакивает в тьму под дождь и несется берегом Сейма, как дикое, смертельно раненое животное...

Дед снова остается один. Его лицо строго и спокойно, только в закатившихся глазах — застывшее выражение страха и боли. От его длинного, неподвижного мертвого тела исходит глубокая тишина смерти...

В скрюченных пальцах деда горит длинная восковая свеча, такая же желтая, как и его руки. Огонек свечи становится все длиннее, и воск по краям оплывает и стекает на пальцы, медленно застывая на них...

Теперь уже руки деда не так крепко держат свечу, и она чуть наклонилась вбок, к окну. Капли воска стекают в сторону наклона и там застывают длинными струями, набегаящими одна на другую. От их тяжести свеча все больше наклоняется к окну, и ее пламя вытягивается длинным языком, пытаясь лизнуть холщовую занавеску, подобранную у краев окна. Спустя немного времени снизу по занавеске бежит огненная змейка, жадно пожирая ее.

Над окном выступает вперед полка, вся заваленная сухими лечебными травами, собранными дедом; огонь с занавески перескакивает на полку, травы вспыхивают и горят с сухим треском, наполняя комнату пряным дымом перечной мяты и зверобоя. Дед лежит и смотрит на огонь пустыми белками глаз; он далеко, и ему нет никакого дела до того, что делается здесь, где его больше нет и никогда не будет...

В комнату вбежали две крысы, стали на задние лапки, понюхали воздух — и с громким писком убежали в темную мельницу. Там под крышей уже проснулись от дыма ласточки в своих гнездах и заметались в темноте, испуганно, тревожно щебеча...

Огонь быстро охватывал старые, сухие, изъеденные червоточиной бревна стен и потолка...

Через час вся мельница была в огне. Дождя уже не было, и огонь без помехи делал свое дело...

Карлица Харитынка, вернувшись, уже не могла войти в мельницу. Она сидела у реки на камне, плакала и ломала пальцы своих сухих, маленьких ручек. Отец Хома стоял около нее, весь освещенный пламенем пожара и, трясая седой бородой, читал Тарасу Порскале отходную...

Панна Мария

Колбасник Синенос еще до грозы вышел из шинка Стокоза. Его качало от крепкой стокозовской горелки и в глазах как будто весь свет перевернулся. И улицы были словно не те, что всегда, и дома как будто местами поменялись. Он шел, казалось, верно, теми улицами, которые вели на Семибалку, к его дому, но, совершенно неожиданно для самого себя, опять вышел на главную улицу, к бакалее Кривохацкого.

— А, нечистая сила! — бормотал он, начиная свое путешествие сначала. — Я знаю, какой черт меня морочит! Чтоб мне провалиться в самое пекло, если то не жинка Домаха в купе со своим чертовым батькой!..

А тут еще черная туча вдруг заволокла все небо, и совсем уже ничего нельзя было понять — где он и в какую сторону ему нужно идти. Он остановился посреди улицы, в недоумении почесывая затылок...

Черная туча глухо заворчала и грянула громом. Синенос от страха присел на землю и пополз на четвереньках куда-то в сторону. В темноте он наткнулся на амбар, нащупал в фундаменте дыру, проделанную собаками и свиньями, и залез в подполье как можно глубже, решив здесь переждать грозу.

— Пускай Домаха дожидается! — с злорадством сказал он, выбирая место поудобнее, чтобы лечь. — А мне что?..

Около него вдруг что-то зашевелилось и недовольно заворчало:

— Rrrrrrr...

Он подвинулся немного в сторону, — но сзади, уже без всякого предупреждения, острые собачьи зубы больно цапнули его за ногу.

— А, скаженна тварюка! — выругался колбасник, быстро подобрав под себя ноги.

Он пополз на животе прочь от неприветливых соседей, но и там его встретило злобное, угрожающее ворчание.

— Та тут их до черта! — смущенно пробормотал Синенос, боязливо пятясь. — Доброму человеку и приткнуться некуда!..

Он подумал немного и взял другое направление. Здесь уже слышались иные, мирные звуки, и на него пахло навозом и теплом. Колбасник протянул руку и нащупал теплые, гладкие спинки поросят. Они сосали, сонно повизгивая, большую шершавую свинью, издававшую нежное хрюканье, похожее на блаженные, дремотные стоны.

От прикосновения руки Синеноса свинья взвизгнула и испуганно приподнялась; поросята, потерявшие сосцы матери, подняли пронзительный визг.

— Тю! — удивился колбасник. — Дурные! Я ж вас не зачипаю!..

Его добродушный тон, видимо, успокоил старую свинью, она почувствовала, что ее потомству не угрожает никакой опасности и снова улеглась. Поросята, поймав сосцы, затихли, выражая свое недовольство на неожиданное беспокойство лишь легким повизгиваньем. А свинья опять блаженно застонала под мерным надавливаньем на ее живот поросятчих рылец:

— Мм-хрю... ммм-хрю... мм-хрю...

Ударил гром, от которого дрогнул весь амбар. Хлынул ливень. Синенос прислушивался к шуму дождя и философствовал, с удовольствием укладываясь около свиньи в вырытом ею углублении:

— От то и так... тэе... Эге ж!..

Пригревшись около теплого бока своей соседки, он мирно захрапел под шум дождя и спокойное, мирное похрюкивание изнывавшей от довольства и благополучия свиньи...

Пробуждение Синеноса было не столь приятно. В яме, где он лежал, образовалась лужа от набежавшей под амбар дождевой воды; свинья продолжала лежать и похрюкивать как ни в чем не бывало, даже еще с большей приятностью, — колбаснику же было крайне неудобно в насквозь промокшей одежде. Он с удовольствием думал о своей ха-

те, где можно было лечь на сухую лавку или еще лучше — забраться на печь и там в тепле раздеться и обсушиться...

Скользя и барахтаясь в грязи, он выбрался из-под амбара и отряхнулся. Дождя уже не было, и небо очистилось от туч. Низко над селом, в стороне кочубеевского сада, висела красная, до половины ущербленная луна, при свете которой уже можно было видеть дорогу. Вдоль всей улицы на земле блестели огромные лужи, налитые дождем; в канавах еще шумно бежала стекавшая с окрестных холмов дождевая вода...

Горелка Стокоза имела то свойство, что и на другой день хмель от нее не проходил, а Синенос не так уж много спал, чтобы не чувствовать себя пьяным. Ноги его заплетались, расплзаясь в грязи в разные стороны. С трудом сохраняя равновесие, он побрел вдоль широкой, пустой улицы, бормоча всякие неприятные пожелания черту и Домахе, всяческими способами мешавшим ему добраться до своей хаты...

Какой-то человек быстро шел ему навстречу, шагая прямо по лужам. Завидев его, Синенос даже остановился от радостного удивления: нашелся еще один человек, блуждавший по селу в такой поздний час!..

— Го-го! Наливайко! — крикнул он, расставив руки в противовес разъехавшимся врозь ногам. — И ты, видно, здорово хлебнул горилки!..

Наливайко был весь мокрый, без шапки и шатался как пьяный.

— Марынку не видал? — спросил он хрипло, утирая рукавом пот со лба.

— Какую Марынку?

— Суховееву!

Колбасник вытаращил глаза и раскрыл рот.

— Разве ж она тут?

— Тут.

— Скажи на милость!.. Не видал... Та, может, ты обознался?..

Наливайко не стал с ним больше разговаривать и, махнув рукой, пошел дальше. Синенос посмотрел ему вслед и пожал плечами.

— Чи он пьяный, чи сдурелый!.. — рассуждал он сам с собой, пытаясь сдвинуть с места влипшие в густую грязь ноги в тяжелых чоботах. — От так история!..

Идти было трудно, Синенос совсем заморился, пока добрался до Черного става. От него шел пар, словно он только что вылез из бани...

На крыльце суховеевой хаты кто-то сидел. «Чи то баба, чи то человек? — думал вслух Синенос, вглядываясь в странную, низко пригнувшуюся к ступеням фигуру. — Может, то Марынка и есть?.. Эге ж! Ну да, Марынка!.. Недаром Наливайко спрашивал...»

— Здорово, дивчина! — сказал он, качнувшись назад и вперед. — Там тебя чумак szukaet. Га?..

Марынка сидела на нижних ступенях крыльца, обхватив свои голые колени тонкими руками. Она молчала и смотрела перед собой большими, неподвижными глазами, ничего не видя и не слыша. Синеносу стало не по себе.

— Хм... Может, то и не Марынка?.. — пробормотал он, боязливо пятясь назад. — Чего ты не идешь в хату, Марынка? — спросил он менее уверенным тоном.

Марынка вздрогнула, как будто только теперь увидела его. Она быстро поднялась со ступеней и замахала на него руками.

— Тссс... — шепотом сказала она, испуганно оглянувшись на спящий дом псаломщика. — То не моя хата... Я не Марынка...

Синенос нагнул голову к плечу и сбоку, одним глазом, посмотрел на нее.

— Я так и думал.. — удивленно сказал он и развел руками. — Только кто ж ты, если не Марынка?..

Девушка нагнулась к нему и тихо, таинственно, точно сообщая ему важную тайну, шепнула:

— Я — Кочубеева дочка, панна Мария! Вот кто!..

Синенос со страхом отступил назад.

— Свят, свят... — забормотал он, быстро крестясь. — Сохрани Боже и помилуй!..

— Я живу в Черном стае! — продолжала Марынка, снова приближаясь к нему с широко раскрытыми, безум-

ными глазами. — Зараз мне и до дому пора!..

Она вдруг взмахнула руками, как будто собираясь лететь, и с громким хохотом побежала к ставу...

Синенос видел, как она взбежала по пригорку на самое высокое место и прыгнула оттуда в воду. Желтые волосы разостлались по воде — и погрузились в черную глубину става...

Колбасник протер глаза. По воде ходили большие круги..

— От так так! — сказал Синенос, в раздумье качая головой. — Привелось-таки повидать Кочубеиху!.. Сказать Домаше — так не поверит, чертова ведьма. «Брешешь, — скажет, — пьяница!..»

Он поплелся, разговаривая сам с собой, вверх по дороге, боязливо оглядываясь назад. Темная поверхность Черного става уже была гладкая, как стекло...

* * *

Все село на другой день знало, что Синенос видел утопленницу — кочубееву дочь. В Батурине с давних времен существовало поверье, что панна Мария, проклятая отцом, утопившись в Черном ставе, не нашла покоя в смерти и часто выплывала на поверхность воды, плакала и рвала на себе волосы. Иногда она выходила на берег, вся мокрая, дрожащая, с распущенными волосами, переплетенными водяными травами, и блуждала по темным, спящим улицам села, прячась в тени деревьев и навесов хат. Она искала человека, который снял бы с нее отцовское проклятие и этим дал покой ее страдающей, грешной душе...

Многие верили этому и даже вспоминали — кто покойного деда, кто — бабу, видевших будто бы панну Марию; находились и такие, которые утверждали, что видели ее собственными глазами. Не мудрено поэтому, что в рассказе Синеноса не нашли ничего невероятного, и колбасник чувствовал себя в некотором роде героем.

Ему недолго, однако, пришлось наслаждаться всеобщим вниманием. Купавшиеся в тот же день в Черном ставе ребятишки наткнулись на мертвое тело, и когда оно было извлечено из воды — все увидели, что это была — Марынка...

Нечего и говорить, как сконфужен был Синенос. Из упрямства он продолжал утверждать, что это — таки Марынка, а та, которую он видел — была в самом деле кочубеева дочь; его никто уже не слушал, а Домаха пригрозила ему еще кочергой, если он будет продолжать «брехать»...

Одарка вырядила дочку в лучшее ее платье, расчесала ей волосы, вплела в них пестрые ленты, а на шею надела ей все ее мони́ста. Марынка-покойница была такая красивая, что даже жутко было смотреть на нее. Старуха не отходила от стола, на котором лежала дочь, голосила и разговаривала с ней, как с живой:

— Что ж ты, дочко, не пришла до батька твоего, до маты твоей? Что ж ты, Марынка, не постучала в окошко, не сказала: отвори, маты? Я б открыла тебе хату, пригарнула бы тебя до сердца, отерла слезы с очей твоих, сама бы переплакала лихо твое!.. Ой, не схотела ты порадовать батько, маты, отцуралась от нас, та й покинула на веки вечные!..

Наливайко в эти дни не торговал в своей лавке, часами простаивал у тела Марынки, глядя на ее исхудавшее, с застывшей у бледных губ детски-жалостной улыбкой, лицо, на ее маленькие, беспомощно сложенные на груди бледные ручки. У нее было какое-то особенное лицо, тонкое и нежное, совсем не похожее на лица деревенских дивчат, и она была странная, непонятная девушка, как будто нездешняя, точно она пришла откуда-то из другого мира, куда и должна была в конце концов уйти. Разве Наливайко годился ей в мужья? Разве пристало ей толочься у печи с горшками и ухватами, кормить свиней, доить корову, нянчить ребят, вальковать на Сейме белье?..

Она была слишком хороша и необыкновенна для этого. Наливайко и думать нельзя было, что она ему пара. Дураком был и Бурба, который хотел силой завладеть ею; он только погубил ее — и этим кончилось дело. Не было для

Марынки «чоловика», да и не жилица она была на этом свите. Это по всему было видно. Что ж тут жалеть и убиваться!..

На третий день, перед самыми похоронами, Наливайко, придя в хату псаломщика, спокойно сказал горевавшей над мертвой дочкой псаломщице:

— Годи, Одарка, убиваться!.. Значит, так надо, чтоб Марынка померла. Где ж ей было жить с нами?..

А после похорон, отвесив земной поклон свежей марынкиной могилке, он вернулся с кладбища, умылся холодной колодезной водой и пошел открывать, после почти трехнедельного перерыва, свою кожевенную торговлю...

XXXV

Находка Родиона

Уже давно отошли вишня, малина, клубника; в фруктовых садах Батурина, в горячем зное летнего солнца, обильно наливались сладким, ароматным соком сливы белые и синие, под тяжестью которых тонкие ветви, густо, как виноградные гроздья, засыпанный нежными плодами, гнулись почти до земли; созревали груши — желтые лимонки, зеленые, душистые бергамоты, румяные дюшезы. Поспевали и яблоки — крупные, точно из воска сделанные антоновки, красные цыганки, медовые — полупрозрачные, словно налитые внутри медом...

Батуринские хозяйки готовили наливки, варенухи, варили варенья и повидла, но слив уродилось так много, что собрать их с деревьев и использовать каким бы то ни было способом не хватало рук. И множество слив оставалось на деревьях, никому не нужные плоды перезревали на солнце, лопались, падали на землю и догнивали там в траве, среди прожорливых и запасливых муравьев, пожиравших их и копивших запасы от этого избытка урожая.

В садах днем на солнце носился теплый медовый запах груш и яблок, привлекавший ярких, желтых, пронзительно кричавших иволг, и молчаливых, голубых, чрезвычайно красивых сизоворонок, клевавших дозревшие фрукты без всякого зазрения совести. А по ночам с улицы слышно было — в глубокой тишине спящих садов часто раздавались какие-то скользющие по ветвям, между неподвижных листьев, шорохи и мягкие стуки, точно кто-то бродил между деревьев, задевая головой ветки, и постукивал «ципком» о землю: это падали, срываясь с ветвей, подточенные червями или от собственной тяжести, созревшие груши и яблоки, который утром подбирались домовитой хозяйкой и сыпались ароматной горкой где-нибудь в углу на земляном полу прохладной мазанки...

Давно отошел сенокос, сено было свезено с лугов, и во дворе каждой усадьбы высилось огромным, в пять раз большим, чем сама хата, душистым зеленым стогом, от которого, вечерами особенно, пахло и во дворе и в хате кашкой, клевером, полынью.

Заканчивались работы и на нивах, где хлеб, связанный в снопы и сложенный копами, стоявшими в ряд, точно присевшие к земле бабы, досушивался на солнце и ждал, когда его развезут для молотбы по дворам. Кое-где еще заканчивавшие жатву и вязку снопов девушки возвращались по вечерам в село с громкими песнями, широко разносившимися по опустевшим полям, слышными за несколько верст, веющими грустной и нежной задумчивостью свежих, вольных просторов отдыхающей земли и вечеряющего неба...

Летняя страда приходила к концу, и уже нужно было подумывать о зиме и делать к ней кое-какие приготовления — того нужно было купить, то нужно было продать, сделать кое-какие запасы. На большой площади у церкви на скорую руку строились деревянные и полотняные лавки и лотки для местных и приезжих торговцев, съезжавшихся в Батурин на ярмарку с огромными, похожими на дом возами, запряженными волами, нагруженными разными товарами — бакалейными, мануфактурными, кожевенными, гончарными. Сюда же пригонялись целые табуны лошадей с

резвыми жеребятами-стригунками, оглашавшими село молодым, жизнерадостным ржаньем и вольным стуком копыт, стада покорных, боязливо жавшихся друг к другу и жалобно блеющих овец, недоуменно мычащих коров, болтающих между задними ногами большим розовым, с длинными сосцами, полным молока выменем, огромных, круторогих быков и буйволов, недовольно мотающих головой, привязанной за один рог веревкой к передней ноге, свирепо поводящих выпуклыми, синеватыми, точно налитыми влажным сумраком степного вечера, глазами...

От этих животных веяло запахом, ширью, свободой диких полей, привольной жизни, первобытным простором земли и неба; они точно принесли с собой зной полуденного солнца, гул ветра, раскаты степных гроз и свежие шумы грозовых ливней. И жалко было смотреть на животных, лишенных свободы движения в узких улицах Батурина, испуганно сбивавшихся в тесные кучи под злобными окриками и свистом длинных кнутов-бичей черных, оборванных погонщиков, под хриплым, простуженным лаем лохматых пастушеских псов, свирепо скаливших страшные губы, между которыми сбоку свешивался наружу длинный красный язык...

Над Батурином висела туча пыли, не оседавшая до ночи, стоял гул шума, гама, рева, от которого становилось и жутко и весело. Что-то праздничное было в этой невообразимой сутолоке, от которой все батуринцы точно опьянели. Мелкие домашние дела были заброшены и забыты; с утра до ночи все толклись на улице, глаза, «балакая», высматривая, что кому было нужно, заранее приглядываясь и прицениваясь к товарам...

Много чужого народа понаехало в Батурин; явились и цыгане — неизбежные завсегдатаи всех украинских ярмарок — в своих кибитках с полотняными верхами, наполненных женщинами, черномазыми цыганами, подушками и всяким домашним хламом. Мужчины-цыгане похаживали около своих и чужих лошадей, заводя торг еще до ярмарки, цыганки ходили по улицам в пестрых шалях на плечах, простоволосые и растрепанные, с медно-красными

лицами и горящими черными глазами, предлагая девчатам погадать, а маленькие цыганята, полуголые, в одних коротеньких, до пупа, черных от грязи рубашонках шмыгали всюду, кланчили денег, забирались в сады и трясли фруктовые деревья и тащили со дворов все, что плохо лежало. Никогда не запиравшиеся в Батуристине хаты теперь и днем и ночью были на запоре — не только от цыган, но и вообще от всякого пришлого люда, среди которого много было охотников на чужое добро...

Понабрело сюда много и всяких нищих — калек, слепцов и блаженных, с кобзами, бандурами, бубнами, играющих на своих инструментах непрерывно, чтобы обратить на себя внимание прохожих. Эта голодная, оборванная, убогая голытьба до ярмарки бродила по улицам, кто как мог: слепцы — держась за поводырей, калеки — ковыляя на костылях, безногие — передвигаясь в маленьких тележках или просто волочась животом по дороге, извиваясь в пыли, подталкивая свое несчастное тело обернутыми в тряпки обрубками рук и ног. И по всем улицам, у дверей и под окошками хат, звучало сиплое пение нищих, выпрашивавших именем Бога кусок хлеба на пропитание, который они опускали в свою торбу с такой бережностью, точно это был кусок золота. Хохлы любят нищих и убогих и в милостыни им никогда не отказывают; вероятно, оттого в шуме базарной и праздничной сутолоки так настойчиво звучит их просящее, молитвенное пение, сопровождаемое гулом кобз, бандур и бубен...

К батуринской ярмарке спешил и блаженный калека Родион, изо всех сил ковыляя на своих «закорюках» по пыльным, знойным дорогам Конотопского уезда. Августовский сезон ярмарок для него был истинным мучением: ярмарки по разным селам следовали одна за другой, и нужно было везде побывать, всюду поспеть. Приходилось нередко за одну ночь делать по пятнадцать-двадцать верст, чтобы прийти к утру на открытие ярмарки. Как же можно, чтобы ярмарка открылась без Родиона!..

— А как же! — говорил он с веселым смехом. — Надо же и Родивону побачить, как и что на ярморци!..

Ему, кроме того, что «побачить» и выпросить несколько копеек, нужно было еще высмотреть себе невесту, посвататься к самым красивым девушкам села, — и лишь после этого, получив, несмотря на отказы, глубокое удовлетворение, он ковылял в соседнее село, где опять кланчил, звенел своим бубном и сватался, так же безрезультатно, к девушкам...

В Батурин он прибыл ночью, накануне ярмарки. Ему пришлось сделать большой путь — от самой Поповки, лежащей в нескольких верстах от Конотопа; когда он дотащился, наконец, до развалин разумовского дворца — у него уже все тело так болело, что он не мог больше и шагу сделать. Он повалился на землю как подкошенный.

— Годи! — сказал он сам себе, отдуваясь и размазывая рукавом рубашки пот, лившийся по его лицу ручьями. — Примандрував — та й добре! Еще можно и поспать немного до света...

В дворцовой роще от ветвистых старых лип было еще темнее, чем в поле. Между деревьев и в стенах развалин шел какой-то шорох, слышались вздохи, шепот, шуршание в обломках камней; то могла быть ночная жизнь летучих мышей, ящериц или просто дыхание ночного ветерка; могло быть также, что здесь где-нибудь приютились и спали такие же бездомные, пришлые бродяги, как и Родион. Прислушавшись к тишине, полной непонятных звуков, Родион спокойно растянулся на земле, подложив под голову свою торбу и бубен. Он ничего не боялся: нищета и убогость оберегали его от злых людей, а нечистая сила, по его мнению, нисколько не интересовалась им; он был глубоко убежден, что такой «закорюки», как он, «чертяке не треба». Крепкий сон вместе с сладким отдыхом тотчас же обнял его уставшее тело, и он густо захрапел, спугнув своим могучим храпом все таинственные звуки ночной рощи и старых развалин...

Родиону немного нужно было времени, чтобы выспаться: его тело, несмотря на убогость, обладало таким избытком жизненной энергии, что не могло долго находиться в бездействии и удовлетворялось самым коротким отдыхом.

Он проснулся, когда едва только забрезжил рассвет и из темноты чуть заметно выступили стволы окружавших его деревьев.

Открыв глаза, он тотчас же сел, почесался с одного бока, потом с другого, и надел на голову свой ободранный с краев и с дыркой посредине бриль; перекинув через плечо веревку торбы и сунув под свитку бубен, он стал, при помощи «ципка», подниматься на своих «закорюках». Нужно было спешить в Батурин, — жизнь на ярмарках начиналась рано, и к развалинам уже доносился смутный гул пробуждавшегося села.

Но тут вдруг Родион увидел нечто странное, приковавшее к себе его внимание — и он снова опустился на землю. В просвете между двух лип в синеватом сумраке начинавшегося утра видно было, как вблизи развалин какой-то человек, высокий, широкоплечий, в сивой шапке, с широким красным поясом вокруг стана, возился, нагнувшись над большим камнем, до половины вросшим в землю, стараясь его приподнять или сдвинуть с места. Ему долго это не удавалось; он брал его руками то с одной стороны, то с другой, заходил туда и сюда, — но камень не поддавался и не трогался с места. Утомившись, мужик выпрямлялся, отирал рукавом свитки пот со лба и, отдохнув и оглядевшись по сторонам, точно боясь, чтобы его кто-нибудь не увидел, снова принимался за работу. У него была большая рыжая борода и длинные усы; Родион нигде раньше не видал этого человека. Что он тут делает? Зачем ему понадобилось поднимать этот камень?..

Рыжебородый мужик был, по-видимому, очень силен, потому что огромный камень, стиснутый между его рук, в конце концов качнулся и сдвинулся в сторону. Незнакомец, отдохнув немного, вынул что-то из-под своей свитки, положил в углубление под камень и снова поставил его на место. Оглядев его со всех сторон, он потрогал камень еще ногой и, убедившись, что он стоит крепко, пошел прочь от него, по направлению к Мазепову Городищу. По дороге он все оглядывался назад и по сторонам; Родиона он так и не

заметил. Скоро его не стало видно за деревьями Семибалки...

Родион подождал немного, потом поднялся и заковылял к камню. Его так сильно разбирало любопытство, что он уже не спешил на ярмарку, решив раньше узнать, в чем тут было дело...

Он опустился на землю у камня, потрогал его руками и покачал головой: нет, не сдвинуть ему эту глыбу! Руки у него, правда, сильные, но к этим рукам для такой работы нужно иметь еще и здоровые, крепкие ноги, а ему этого-то как раз и не доставало. Он повертелся около камня туда и сюда, оглядел его со всех сторон, подумал — и принялся по-собачьи рыть землю обеими руками, подрываясь под камень с той стороны, где он менее глубоко сидел в земле.

Родион работал долго, пот лил с него ручьями; он вытирал лицо черными от земли руками, размазывая по лбу и шее грязь, и снова принимался за рытье, бормоча про себя с хитрым смешком:

— Ось отколушаем, та побачим, что оно такое...

Уже совсем рассвело, уже солнце поднялось из-за развалин и ярмарка гудела в Батурине вовсю, — а Родион все еще рыл с упорством идиота, медленно, но верно приближаясь к цели. Когда, наконец, ногти его пальцев царапнули по нижней стороне камня — он растянулся на животе, усиленно шаря под ним руками, воткнув в вырытую им яму и свой бульбообразный нос точь-в-точь, как это делают, роясь в земле, собаки.

Его скуластое, запачканное жирным черноземом лицо вдруг все расплылось и задержалось от радостного смеха: пальцы его нащупали что-то такое, что не было ни землей, ни камнем и что, вероятно, и было положено туда рыжебородым мужиком.

— Го-го-го! — весело заржал Родион. — Таки достал!.. А как же!.. От тебе и заховал!.. Го-го-го!..

Он долго, сосредоточенно, сидя у камня, рассматривал свою находку, потом сунул ее за пазуху, поднялся и торопливо, словно у него на ярмарке было очень важное дело, заковылял к Батурину.

Наливайко перенес на ярмарку большую часть своих товаров. Он теперь торговал не только кожами, но и готовыми хомутами, чоботами, башмаками для баб и детей, сафьянными сапожками и черевичками для девочек. Стены ярмарочной лавки он завесил плахтами, углы украсил цветными и вышитыми рушниками.

— Тут добре посидеть и побалакать! — говорили покупатели, с удовольствием после толкотни на площади под знойным солнцем рассаживаясь на скамейках в прохладном полусумраке лавки.

По одну сторону торговли Наливайко раскинулся полотняный навес еврейки Стеси, где целый день беспрерывно кипел огромный двухведерный самовар и за длинными столами пили чай ярмарочные купцы и покупатели, пыхтя и отдуваясь от жары, сдвинув бараньи шапки с потных лбов на затылки, расстегнув ворота сорочек, чтобы освежить свои загорелые, волосатые груди...

По другую сторону стоял лоток бабки Фочихи, весь заваленный и увешанный вязками бубликов — простых, сдобных, яичных, сахарных — разных величин, начиная от таких больших, что в них можно продеть голову, и кончая совсем маленькими, похожими на мониста из орешков, нанизанных на нитку. За прилавком лотка сидела дочка Фочихи, Наталка, — старуха дома пекла бублики, боясь, что ее запаса не хватит для продажи на все дни ярмарки. Наталка была одета в свое лучшее праздничное платье — в синюю бархатную кирсетку, ярко вышитую разноцветными шелками сорочку, червонную плахту и желтый передник; в толстую русую косу, которую она держала на своей высокой груди, она вплела множество пестрых лент; на шее у нее звенели стеклянные мониста, а немного ниже — целый ряд старинных дукатов, припаянных к серебряной цепочке...

Круглые щеки Наталки пылали от удовольствия, синие глаза сияли на загорелом лице как два маленькие оконца, открытые в голубое небо. Она бойко, смеясь и конфузясь от шуток покупателей, торговала бубликами, которые разбирали у нее и про запас, десятками длиннейших вязок, и для поедания тут же, походя или с чаем под навесом гостеприимной Стеси...

Фочихина дочка была хороша — это все отметили. Незаметно сидя в своей хате за раскатыванием теста и верчением бубликов, она выросла, выровнялась — и явилась на свет Божий настоящей красавицей-невестой, на которую мог заглядеться и самый разборчивый жених. Даже Гуца, который ничего не признавал, кроме «горилки», сказал, проходя мимо:

— А и гарна ж дивчина, просто беда!..

Он подмигнул Наливайко, стоявшему в дверях лавки, сказав с одобрением:

— И хитрый же ты парубок — знал, где лавку строить!..

— А что? — спросил Наливайко.

— А то, что соседка твоя дуже хороша, цвет маков, та й годи!..

Наливайко только теперь заметил Наталку. Он сразу даже и не поверил: вправду ли это фочихина дочка? Она так похорошела, что только смотреть на нее уже было большим удовольствием. Он, однако, Гуце ничего не сказал и ушел в лавку. Но когда фельдшер побрел дальше — Наливайко вышел на улицу, снял шапку, поклонился в сторону бубличного лотка и крикнул:

— Здорово, Наталка! Помогай Боже!..

Наталкины щеки загорелись так, что красные ленты в ее косе как будто сразу поблекли. Она опустила глаза и сказала:

— Здравствуйте! Спасибо. Помогай и вам Боже!..

Наливайко поглядел еще на нее. Ему хотелось сказать ей что-нибудь приятное, но он ничего не мог придумать. Он только предложил ей:

— Приходи, Наталка, черевички покупать! Самые лучшие выберу, задаром отдам!..

Наталка еще ниже опустила голову, совсем смутившись, и, вся красная, проговорила, конфузливо поправляя на груди косу:

— Та прийду... А вы до нас приходите за бубликами...

На этом разговор окончился. Наливайко ушел в свою лавку, но теперь торговля уже гораздо меньше занимала его. Что-то тревожное и радостное мешало ему думать о кожах, хомутах и чоботах; он то и дело, словно для того, чтобы приглядеть за разложенным за дверью товаром, выходил из лавки и украдкой поглядывал в сторону бубличного лотка. Наталка взглядывала на него испуганными глазами и тотчас же потупляла их, опуская на грудь голову. И Наливайко уносил в сумрак лавки этот быстрый смущенный взгляд синих девичьих глаз, долго еще светившихся перед ним.

— От тебе и Наталка! — бормотал он, недоуменно пожимая плечами. — Скажи на милость — какая стала!..

Позднее, выглянув из лавки, он увидел в бубличном лотке уже самую бабу Фочиху, а Наталии там уже не было. Старуха сменила дочку, отпустив ее погулять по ярмарке. Наливайко подошел к лотку Фочихи.

— Здорово, бабка! — сказал он, почтительно снимая шапку.

Старухе понравилось, что он снял перед ней шапку; она ласково ответила ему:

— Здравствуй, здравствуй, купец! Торгуешь?

— Та слава Богу. А ты?..

— Ничего. Дочка расторговалась так, что аж ну!..

Наливайко, сдвинув шапку на затылок, поглядел в сторону и, как будто так себе, между прочим, сказал:

— Гарная у тебя дочка, совсем-таки красавица!..

— Та ну? — удивленно протянула старуха, хитро сощурив на него глаза, и засмеялась. — А что ж — сватай, если понравилась!..

Наливайко посмотрел на нее — шутит она или всерьез говорит?..

— А отдашь? — тихо спросил он, приняв деловой, серьезный тон.

Красивое лицо Фочихи тоже стало серьезным и даже строгим. Она оглядела его своими глубоко впавшими, умными глазами с головы до ног — от его красивой смушковой шапки до блестящих сапог и, видимо, осталась довольна.

— Ты вправду хочешь взять Наталку? — все же осторожно спросила она.

Наливайко кивнул головой. Старуха подумала с минуту.

— Добре. Когда сватов будешь присылать?..

Наливайко радостно оскалил зубы.

— Та хоть зараз!..

Фочиха тоже засмеялась. Сватовство Наливайко, парубка степенного, имеющего уже и свою хату и торговлю, было ей очень по сердцу.

— Дуже прыткий! — весело сказала она. — Завтра перед обедней я буду в хате — тогда и присылай!..

Они помолчали. Старуха спросила:

— С дочкой балакал?

— Та балакал. Надо б еще...

Фочиха махнула рукой.

— Набалакаетесь еще, как будете спать вместе!.. — она снова засмеялась, показав свои, еще все целые, крепкие, белые зубы. — Вон, иди, до лавки зовут!..

— Гей, хозяин! — кричал с порога кожевенной лавки мужик, — красный, потный, видимо, только что вылезший из палатки Стеси или Стокоза. — Чем со старой бабой женихаться — иди лучше хомуты продавать!..

— Так как? — спросил Наливайко, все еще как будто не веря своей удаче.

— Та как сказала — так и будет! — отвечала Фочиха деловито.

— Ну добре. Наталке скажи сама...

— Та скажу. Она поперечь маты не пойдет...

Наливайко еще много кой о чем нужно было поговорить о Фочихой, но покупатель настойчиво требовал его в лавку, — и он с досадой, нехотя, пошел продавать хомуты...

Наталка сдержала слово и пришла в лавку Наливайко покупать черевички. Она была красная, как пион, и не смотрела на него. Сказала ли ей мать о его сватовстве, или она сама догадалась, что нравилась ему — только чувствовалось, что она уже не могла говорить с ним так просто и свободно, как прежде. Она отворачивала от него лицо в сторону и то и дело прикрывала глаза рукавом сорочки. Глава ее были влажны и, казалось, она вот-вот заплачет от стыда и смущения...

Наливайко выбрал ей самые лучшие черевички, с блестящей пряжкой и подковками, и еще сафьянные сапожки — синие, под цвет ее кирсетки, с золотыми кисточками и высокими каблучками.

— Сапожек не надо, у меня грошей мало... — не глядя на него, сказала она, задыхаясь от волнения. — Сколько за черевички?..

— Возьми и сапожки! — убеждал ее Наливайко, тоже волнуясь. — А грошей не надо. Я за бублики должен, так мы рассчитаемся...

Сапожки очень нравились Наталке, но она все же не решилась взять их. Надев на босые ноги черевички, она делала вид, что разглядывает их, а сама украдкой поглядывала на красивые сапожки, стоявшие тут же рядом. Она молчала, совсем потерявшись от смущения. Наливайко говорил с ее матерью о сапожках — может, он и о ней говорил со старухой и они уже все порешили?..

Наливайко придвинулся к ней.

— Есть одно дело до тебя, дивчинко... — сказал он и взял ее за руку.

Наталка еще больше отвернула лицо в сторону и вся замерла. Она не пошевелилась, не отняла у него своей руки. Наливайко близко наклонился к ее лицу.

— Хочешь за меня пойти замуж, Наталка?.. Твоя мать велела завтра сватов посылать. Пойдешь?..

У Наталки из глаз брызнули слезы. Она вырвала из его рук свою горячую руку и бросилась вон из лавки, оставив и свои старые черевички и новые сапожки.

Наливайко поглядел ей вслед и подумал, усмехнувшись в усы: «Добре! Значить, пойдет!..»

Он взял наталкины черевички и синие сапожки и снес их Фочихе. Наталка сидела в глубине лотка и плакала, прикрыв лицо своим желтым передником; старуха не обращала никакого внимания на ее слезы.

— Побалакали? — коротко, тихо спросила она Наливайко.

— Эге! — отвечал он, передавая ей черевички и сапожки и делая вид, что Наталка не видит.

Фочиха, в ответ на его подарок, выбрала ему вязку самых лучших бубликов. Наливайко, поблагодарив, надел ее на шею и тут же принялся грызть бублики. Говорить о свадьбе в присутствии невесты было неудобно; кивнув головой Фочихе, он вернулся в свою лавку. Главное было сделано, об остальном можно было поговорить и после...

XXXVII

Оксана

Ярмарка гудела сотнями голосов торгующихся и балакающих мужиков, визжащих баб и дивчат, кричащих и плачущих детей; стоном стояли в общем гуле пение и унылая, однообразная музыка нищих; с окраин площади неслись, сливаясь в сплошной рев, ржанье лошадей, мычанье коров, блеянье овец, визг свиней и поросят, к которым примешивались гром барабана и хриплая музыка шарманки беспрерывно крутившейся карусели.

Сплошная толпа мужиков, баб и девчат в пестрых плахах и платках, с целыми каскадами разноцветных лент, вплетенных в косы, бесконечно двигалась между лавками вперед и назад, покупая, торгуясь, а больше просто глаза, лица свежие, величиной с добрую миску, подсолнухи. То тут, то там образовывались заторы, люди скоплялись в одном месте, и в толпе шла беспрерывная толкотня. В центре та-

кого затора не оказывалось ничего особенного, — просто два мужика торговались, усердно колотя друг друга по ладони или у лотка, где продавались всякие принадлежности религиозного обихода, какая-нибудь старушка, собирающаяся помирать, покупала и примеривала на себя саван из белого холста с золотыми крестами или мужик, разъезжающий по ярмаркам со своей передвижной ситценабивной фабрикой, тут же изготавливал ситец, оттискивая на белой бумажной материи камнем, смазанным синей или красной краской, разные узоры и цветы.

Собирали около себя публику и нищие, привлекавшие внимание прохожих своим необыкновенным уродством или занимательной, замысловатой песней. Большая толпа сгрудилась около одного древнего старичка; он был весь белый — в чистой рубашке и холщовых штанах, и голова и лицо у него были окружены, точно серебристым сияньем, седыми волосами и бородой. Сидя на земле, он вертел ручку своей мягко и однообразно гудевшей кобзы и пел разбитым старческим голосом песню о «Байде»:

Ой пье Байда
Мед, горилочку,
Та не день, не тыждень,
Та не одну ночку.
Як прийшов до Байды
Царь турецкий:
«Шо ты робышь, Байда,
Байда молодецкий?»
— Ой пью, царю,
Мед, горилочку,
Та вже не день, не тыждень,
Та вже не одну ночку...
«Эй, брось, Байда,
Байда, байдуваты,
Визьми мою доньку,
Та йди царюваты!..»

Старичок умолк и с минуту молча гудел своей кобзой, трясся, точно в глубоком раздумье, белой головой. Слуша-

тели терпеливо ждали. Только один толстый, сивоусый хохол с мешком за плечами, в котором копошились и повизгивали маленькие поросята, не выдержал и, высунувшись из толпы, скороговоркой проговорил:

— А ну, а ну, что сказал Байда тому турецкому царю?..

К мерно гудящей кобзе снова присоединился сиплый, бесстрастный голос старичка:

— Твоя ж донька —
Донька поганая,
Твоя ж вира —
Вира проклятая!..

— Го-го! Так ему и надо!— восторженно одобрила толпа ответ Байды. — То совсем по-казацки!..

Як крикнув царю
Та на свои слуги,
Та на свои слуги,
Слуги янычары:
«Визмить Байду,
Та звяжите,
Та за ребра гаком,
Гаком зачипите!»
Висит Байда
На дубочку
Та не день, не тыждень,
Та не одну ночку.
Прийшов до Байды
Царь турецкий:
«Шо ты бачишь, Байда
Байда молодецкий?»
— Ой бачу, царю,
Я два дубочки,
А на тих дубочках
Сидять голубочки.
Дозволь, царю,
Лучка взяты,
Тебе на вечерю
Голубочков зняты!..

Як стрельнув Байда
З того лука,
Та попав цареві
Промеж самих уха.
А царицу
В потылицу,
А цареву дочку
Прямо в головочку.
— Тебе, царю,
В землі гниты,
Байде ж молодому
Мед, горилку питы!..

Со всех сторон посыпались старику в шапку копейки, бублики, подсолнухи; хохлы были довольны Байдой, не ударившим лицом в грязь перед турецким царем...

В другом месте народ собрался около одной «скаженной» — молодой женщины, грязной, оборванной, сумасшедшей; она сидела на земле и голосила что-то дикое, непонятное. Ей совали в руки хлеб, деньги, пряники, но она ничего не брала и все голосила, кланяясь до земли, разрывая на груди висевшую лохмотьями рубашку.

В ней не было ничего необыкновенного, — таких сумасшедших женщин имеет почти каждая деревня Малороссии; ею заинтересовались только потому, что узнали в ней ту самую женщину, которую извлек Скрипица из горевшего сарая Бурбы. Она исчезла после пожара Мазепова Городища и только теперь впервые появилась в Батурине. От нее ничего нельзя было добиться — она как будто и не слышала обращенных к ней вопросов; в конце концов ее оставили в покое.

Толпа уже стала редеть вокруг нее, когда к ней вдруг протиснулась Ганка Марусевич.

— Ой, Боже! То ж Оксана Ковалева!.. — крикнула она, всплеснув руками.

Сумасшедшая затихла, подняла голову от земли и удивленно повела кругом себя мутными, безумными глазами.

— Что с тобой, Оксана? — Ганка наклонилась к ней и тронула за плечо. — То я — Ганка! Не узнала?..

Женщина посмотрела на нее широко раскрытыми, немного прояснившимися глазами. Она молчала, беззвучно шевеля губами; в лице ее появилось выражение разумной сосредоточенности, как будто она что-то вспоминала и сообщала. Но это продолжалось не больше одной минуты; лицо ее снова исказилось гримасой безумия, глаза помутнели; она вдруг пронзительно крикнула:

— Геть! Геть!... О-о-оо!..

И, с силой оттолкнув от себя Ганку, вскочила на ноги и бросилась бежать, с ужасом озираясь по сторонам...

На ярмарке тотчас же стало известно, что эта сумасшедшая — дочь зарезанного в Гирявке хуторянина Коваля, исчезнувшая в ту же ночь, когда был убит ее отец. Тут уже нетрудно было догадаться, кто убил Коваля. Имя Бурбы пошло гулять по всей ярмарке...

Сумасшедшая Оксана куда-то скрылась, ее нигде не могли найти. Вздуродоруженная этим первым и неопровержимым подтверждением слухов о злодействе Бурбы, толпа так ни с чем и разбрелась по ярмарке...

XXXVIII

Новое открытие

Сивоусый хохол, шатавшийся по ярмарке со своими поросятами в мешке, увидел Оксану в конском ряду, в той части, где торговали лошадьми цыгане. Недалеко от нее стоял высокий мужик в сивой шапке, держа за уздечку пару добрых лошадей, которых он продавал двум чернобородым цыганам, смотревшим им в зубы. Сумасшедшая застыла в положении, какое принимает охотничья собака при «стойке», готовясь сделать прыжок на дичь. Лицо ее все дергалось и побелевшие губы прыгали. Она вдруг подскочила, как от удара кнутом, взвизгнула и кинулась вперед с диким криком:

— Кровь!.. Ой-ой-ой!..

Мужик в сивой шапке быстро обернулся. Сивоусый хохол от неожиданности даже выронил из рук мешок с поросятами: это был сам Бурба! Злодей со страхом уставился на сумасшедшую и стал быстро тереть рукой о полу своей свитки, точно его пальцы были выпачканы чем-то неприятным. Но он тотчас же пришел в себя, его брови грозно сдвинулись, зубы по-волчьи оскалились; он поднял свой кнут и звонко, со всей силы, хлестнул им по лицу и груди сумасшедшей. Та взвизгнула и повалилась лицом вниз на землю...

Со всех сторон уже бежали люди; слышались крики:

— Злодей!.. Держи!..

Бурба поглядел кругом, точно соображая, куда ему податься. Усмехнувшись, он отбросил от себя ногой извивавшуюся на земле Оксану и не спеша взобрался на одну из своих лошадей, взяв другую в повод. Цыгане расступились перед ним, он ударил подковами своих чоботов в бока лошади, другую стегнул кнутом — и вихрем помчался по конскому ряду.

Несколько человек, повскакав на лошадей, пустились за ним в погоню. Но они скоро вернулись с пустыми руками, сконфуженные и обескураженные: в какую сторону они ни бросались — Бурбы нигде не было, и никто не видел его проезжавшим по батуринским улицам. Он как будто, выехав с ярмарочной площади, провалился с своими лошадьми сквозь землю...

Долго не смолкали на ярмарке толки и разговоры о неслыханной дерзости Бурбы. Подумать только — он осмелился еще приехать в Батурин на ярмарку продавать лошадей! И куда он так быстро успел скрыться, если только его не спрятали сами черти?..

На время были забыты и купля и продажа; мужики ходили как потерянные и в недоумении чесали затылки; бабы подсмеивались над ними:

— Соли ему на хвост насыпьте, может, тогда и поймаете!.. Вам бы только горилкой наливаться у Стокоза, а как до дела, так никого и дома нема!..

В конце концов и эта история была бы забыта, как забывается все на свете, и ярмарка снова пошла бы своим обычным ходом — если бы не новое дело, которое окончательно смутило и расстроило даже самых спокойных ярмарочных купцов и покупателей.

Кто-то принес страшное известие, что на конотопской дороге недалеко от села Красного нашли тело зарезанного и ограбленного помещика, ехавшего в Батурин не то из Конотопа, не то из Гярявки. Карманы убитого были выворочены, лошади выпряжены из брички и угнаны.

Неизвестно было, кто принес эту весть, но слух быстро передавался от одного к другому и скоро облетел всю ярмарку. Все в один голос твердили:

— Никто, как Бурба. Его это дело!..

Вместе со злобой против разбойника, многие, в особенности из числа приезжих, испытывали и жуткий страх, холодной дрожью бежавший по их спинам: как-то они будут возвращаться с ярмарки домой?..

Праздничное настроение на ярмарке сильно упало; даже нищие попритихли, заразившись общей растерянностью и страхом. Только Родион был радостен и беззаботен как всегда: что ему до Бурбы?..

Веселый калека шатался по ярмарке, присаживался на землю то тут, то там, колотил в бубен и, прислушиваясь к своей музыке, говорил сновавшим мимо него людям:

— Ось послушайте, як гарно грає!.. Дайте Родивону копеечку!..

Давали ли ему копейку или нет — он одинаково весело заливался блаженным смехом и кланялся, снимая шапку:

— Спасибо и будьте здоровеньки! Дай Боже!..

Завидев целую толпу девушек, гулявших по ярмарке, он закричал им нараспев, делая такое лицо, словно у него во рту было что-то очень сладкое:

— Девчаточки, квиточки рожевы! Ой, яки ж вы гарны, а не дай Боже!.. А что, девчаточки, чи не пойдєт кто из вас за Родивона замуж? Го-го-го!..

Девчата окружили его пестрой толпой и, смеясь, затеяли с ним длиннейшие переговоры:

— Вот Гарпына за тебя пойдет! Хочешь Гарпыну?..

— Эге ж!.. — Родион весь таял; хитро прищурившись, он спросил:

— А она меня полюбит?..

— А то возьми Христа!.. Христа, пойдешь за Родивона? Жених хоть куда!..

— А как же! Го-го-го, — радостно заржал жених. — Только Христи не надо, бо она надо мной смеется! Вон как регочется!..

— Ну, так посватайся до Явдохи! Явдоха пойдет! Только купи ей новую червонную плахту, та еще черевички, та мониста! Купишь?..

Родион умильно поглядел на предлагаемую Евдоху и сладко пропел:

— Та я ей лучше на музыке сыграю! Га?..

— Ишь ты, какой хитрый!.. Тогда женись на Ганке, она богатая, ей обнов не надо!..

— От еще нашли дуру! — сказала Ганка притворно обиженным тоном, давась от смеха. — Где ж-таки видано, чтобы богатая та пошла за убогого?

— Разве ж я убогий? — искренне удивился Родион. — Го-го! Та у меня богато грошей есть!..

— Ну?

— А ей-Богу ж!

— Покажи.

— Ось зараз!..

Он полез за пазуху и вытащил оттуда толстый кожаный бумажник; раскрыв его, он показал девушкам пачку каких-то, никогда не виданных ими, бумажек.

— Ось, бачите! — сказал он гордо. — Сколько грошей!..

Девушки усомнились:

— Та, может, то и не гроши?..

Родион и сам хорошо не знал: деньги то или нет; он доверчиво протянул им бумажник, сказав:

— Сдается, что гроши...

Около девчат остановилось несколько мужиков. Бумажник пошел по рукам. В нем оказалось, сторублевыми бу-

мажками, около пяти тысяч. Стали расспрашивать Родиона:

— Откуда это у тебя? Кто тебе дал?

— А никто! — беззаботно отвечал Родион. — Сам достал!..

— Та где достал?

— А под камнем.

— Под каким камнем?

— А что у дому Разумовского.

— Кто ж там поклял те гроши?

— Кто ж его знает? Человик какой-то... — Родион весело засмеялся. — Он сховал, а я и достал! Го-го-го!..

— Та какой человек?

— А здоровый такой! В сивой шапци, ще й с рудой бородой!..

Мужики заволновались.

— Бурба! То Бурба! — загудело с разных сторон...

— Может, и он... — согласился Родион, уже притихнув, с недоумением оглядывая тесно окруживших его людей, число которых с каждой минутой увеличивалось.

Сбившись в тесную кучу, мужики лезли друг на друга, отеснив в сторону девчат. Кто-то сказал, рассматривая вынутые из бумажника бумаги:

— То, может, гроши того, что нашли на конотопской дороге...

В толпе загудело:

— Эге ж, его!

— Говорили — гиравский хуторянин какой-то!..

— Та он же! Марусевич, кажут...

Пронзительный крик вдруг покрыл все голоса. Это крикнула Ганка. Лицо ее стало белым, как полотно сорочки; она схватилась рукой за грудь у сердца, завела глаза под лоб — и повалилась замертво на землю...

Мужики толпой повели Родиона с его находкой к приставу, где было точно установлено, по тем приметам, какие дал калека, что спрятавший под камень деньги был не кто иной, как Бурба, а по документам, находившимся в бумажнике — что убитый на конотопской дороге помещик был гиравский хуторянин Марусевич, ехавший, после продажи

своего имения, в Батурин к жени и дочери. Лошади, которые продавал Бурба на ярмарке цыганам, принадлежали, по-видимому, зарезанному хуторянину...

XXXIX

Цыганская свадьба

К вечеру ярмарка затихла; позапирались лотки и лавки, затянулась со всех сторон полотнищем карусель. Батуринцы разошлись по своим хатам, где за ужином продолжали еще оживленно обсуждать свои ярмарочные дела и события дня. Поразбрелись и нищие, Бог весть где устраивавшиеся на ночлег. Ярмарочная площадь наполовину опустела; остались только приезжие, расположившиеся под своими возами: они ужинали и тут же укладывались спать. На площади стало тихо, пыль улеглась, от земли поднимался густой запах свежего сена, всюду набросанного между возами, и навоза. Цыганские кибитки, одна за другой, потянулись по крутому скату к Сейму, на берегу которого были разбиты шатры цыганского табора...

Тихо опускалась теплая августовская ночь с запахом по улицам зреющих в садах яблок и груш, с зажигающимися по всему небу золотыми дугами падающих звезд. Батурин засыпал. В пустых улицах бродили только собаки, которых понабежало из окрестных деревень за возами мужиков видимо-невидимо; голодные, злые, они искали, чем бы поживиться, поднимали на улицах то там, то здесь отчаянную грызню и жестокие драки с лаем, визгом, воем, с летевшими во все стороны клочьями собачьей шерсти.

Но и собаки скоро утомонились, вернувшись на ярмарочную площадь к своим возам, где они и улеглись рядом со своими хозяевами. В селе стало тихо-тихо, той благодатной деревенской тишиной, в которой слышен каждый малейший шорох древесного листка, а слабое, дремотное тырканье сверчка, раздающееся откуда-нибудь из-под крыль-

ца хаты или из-под амбара, разносится далеко по спящим улицам и кажется в этом полном ночном безмолвии таким громким, что человеку с чутким сном — прямо хоть затыкай уши...

Из закрывавшейся на ночь на ярмарке палатки Стокоза вывалило несколько пьяных человек, среди которых, конечно, были Гуца, Синенос и Кривохацкий, уходившие из шинка всегда последними. Эта дружная тройка, обнявшись и покачиваясь, поплелась по главной улице, не имея ни малейшего желания расходиться по домам.

Гуца затянул басом:

Ой на гори та й жнецы жнуть...

Голос его оборвался, и он сконфуженно умолк. Синенос и Кривохацкий сказали:

— Ты ж не умеешь...

И затянули сами, продолжая начатую Гуцей песню:

А по-пид горою, по-пид...

Но их голоса разъехались в разные стороны, как разъезжались и ноги. Замолчав, они остановились и сердито уставились друг на друга посовелыми глазами.

— Не туды тянешь! — с сердцем сказал Синенос. — Дурень безмозглый!..

— От дурня и слышу! — огрызнулся бакалейщик.

— Та годи вам лаяться! — плачущим голосом примирительно сказал Гуца.

Тройка двинулась дальше, переругиваясь заплетающимися языками. В некотором отдалении за ними брела кучка остальных гуляк, впереди которой шел, побряхтывая под своим мешком с поросятами, сивоусый хохол; поросята визжали, и он их успокаивал, тыча кулаком в мешок то с одной, то с другой стороны. Гуляки оживленно балакали; кто-то горланил песню:

Пид горою вода,
Над водою верба, —
Там дивчина воду брала,
Сама молода...

Какой-то мужичонко, вдрызг пьяный, плакал и настойчиво требовал:

— Побийте мене!.. Побийте ж мене, люди добрые, бо я так же не могу... О Боже ж мий милосердный!..

Тихая, спящая улица, казалось, нахмурилась, провожая беспутных пьяниц своим глухим, насторожившимся молчанием. Темные хаты глядели им вслед с упреком своими незрячими, черными окошечками-глазами. Заснувшие под амбарами бродячие собаки, заслышав шум, вылезли из подполья и принимались лаять, — но так как на них никто не обращал внимания, они снова, недовольно ворча, забрались под амбары и оттуда глухо таявкали, возмущаясь таким бесцеремонным нарушением ночной тишины и их собачьего спокойствия...

Неизвестно, куда направились бы гуляки, если бы одно необычайное явление не остановило их на середине улицы. Из одного из переулков, пересекавших главную улицу, вдруг выкатила огромная гарба, запряженная тройкой бойких цыганских лошадок; гарба была вся заполнена цыганами, сидевшими, казалось, друг на друге с выкинутыми наружу ногами. Необычайным в ней было то, что на заднем конце ее горел костер, от быстрого движения разгоревшийся ярким пламенем и освещавший всю гарбу красным светом, придавая ей зловещий, дьявольский вид. Цыгане пели, кричали, свистели, гикали; кто-то среди них пилил на скрипке, кто-то бил в бубен. Гарба мчалась с грохотом, лязгом, треском, разбрасывая во все стороны искры. Какой-то огромный человек правил лошадьми, стоя на передке, размахивая над ними длинной горящей головней.

— Поберегись! — орали с гарбы хором. — С дороги! Го-го-го-го!..

Гуляки шарахнулись в обе стороны, провожая гарбу кто удивленными, кто испуганными, завистливыми или прос-

то пьяными, непонимающими глазами. Синенос одобрительно помотал головой.

— От то гуляют! — сказал он, глядя в ту сторону, где еще мелькала огненная точка костра на гарбе, уже гремевшей в самом конце улицы, за тополями волостного правления. — Ай да цыганота!..

— То цыганская свадьба! — сообразил Гуща и прибавил глубокомысленно:

— От где богато горилки, и не дай Боже!..

Его замечание не пропало втуне: тотчас же несколько голосов весело подхватили:

— Айда до цыган, попробуем, какая-токая цыганская горилка!..

— То дело! Чем цыгане не люди, что мы не можем пить их горилку!..

— Гулять так гулять! Чтоб аж до свету в голове, как в барабане, трещало!..

И пьяная орава, предводительствуемая Гущей, Синеносом и Кривохацким, повернула назад и, весело гуторя, направилась к спуску к Сейму...

На берегу Сейма, где стоял цыганский табор, в самом деле царило необычайное оживление. Между темными, рванными шатрами ярко горели костры, озаряя берег, кибитки, лошадей и людей красным светом, гудела музыка — скрипка, кларнет, контрабас и барабан, целый цыганский оркестр, управляемый, впрочем, не цыганом, а батуринским музыкантом, скрипачом Янкелем Портным, без которого не могла обойтись ни одна свадьба в Батурине. На площадке, среди костров, под эту музыку шли танцы, от которых далеко кругом гудела земля, а в большой палатке, разбитой у самой воды Сейма, пировала «цыганота», сидя прямо на земле; здесь слышался гул гортанного цыганского говора, хрипкое пение диких, то заунывных, то веселых цыганских песен, веявших вольной степной жизнью этих вечных странников по земным просторам, неутомимых, с древних времен не знавших оседлости кочевников. Цыгане справляли свадьбу одного из членов своего табора и веселились

со всем размахом своей цыганской удали, дикой степной безудержности...

Синенос, Гуща и Кривохацкий с прочей компанией гуляк были приняты здесь как почетные гости; их усадили в большой палатке и тотчас же принесли кухоль с водкой, за которую, однако, потребовали деньги.

— Гроши так гроши! — сказал Синенос, разыскивая карман в бесчисленных складках своих широченных шаровар. — Ты думаешь, что у нас в кишени и грошей нема? Ого!..

Откуда-то прибрела еще одна ватага гуляющих батуринов; гуляки радостно приветствовали друг друга:

— Го-го! Дорош! Откуда ты тут взялся?..

— И ты тут, Синенос?.. А бодай вас, от так-так!..

— Ге, Зачипенко! Почуял носом, где пахнет горилкой!..

— Та почувешь, когда цыганота гоняет по всему селу как одурелая на гарбе, да еще с огнем!..

— А конями, видал, правит сам Бурба!..

— Да ну?

— Ей-Богу ж!

— То ж я и вижу, что на цыгана не похоже...

Веселая компания заняла почти половину палатки; «горилка» полилась рекой. Поднялся галдеж, «балаканье», главной темой которого был, конечно, Бурба. Он, оказываясь, остался в Батуристине, спрятавшись от погони у цыган, с которыми теперь и гулял. Ну-ну, пускай он только появится тут — теперь уж ему больше не уйти!..

Гуляки расхрабрились, размахивали руками; цыгане носили им водку и тихонько посмеивались, разговаривая на своем тарабарском языке с таким видом, точно они и знать не знают никакого Бурбы...

А на площадке, среди шатров, по-прежнему гудела музыка, дрожала земля от топота цыганских чоботов и горели костры, выбрасывая вверх, в темноту, целые фонтаны золотых искр...

По неровно мощеному скату главной улицы загремела возвращавшаяся к табору цыганская гарба. С пением, свистом и гиканьем подкатили цыгане на тройке к шатрам. Поднялся невообразимый шум, — приезжих встретили восторженными криками. Среди них находились жених и невеста, которых тотчас же потянули танцевать. Около молодых образовался огромный круг, музыка загудела еще громче. Контрабас трещал и скрипел, точно собирался рассыпаться на мелкие щепки, скрипка Янкеля Портного визжала, как будто он резал ее своим смычком, кларнет пронзительно заливался и верещал на самых высоких нотах, задавшись, видимо, целью перекричать весь этот шум, что ему отчасти и удавалось, а барабан ухал непрерывно, словно решил скорее лопнуть, чем сдаться перед каким-нибудь несчастным кларнетом.

Чернобородые молодые цыгане, седые старики, смуглые цыганки в пестрых шалях, страшные ведьмообразные старухи, полуголые цыганчата, похожие на чертенят — завертелись с диким визгом бешеным вихрем, от которого заматались, точно в бурю, огни ближайших костров.

Цыганская свадьба была в полном разгаре...

— Чуешь? — сказал Синенос, прислушиваясь к шуму цыганского веселья, толкнув в бок Гуцу. — Гарба приехала! Зараз и Бурба объявится...

В палатке, с приездом свадебной гарбы, стало тихо; цыгане вывалили наружу, а батуринские гуляки молча сидели и ждали.

Бурба не замедлил явиться. Откинув полу рваного полотнища и слегка нагнув голову, он шагнул в палатку — и тотчас же остановился, увидев компанию гуляк. Видно было, что он не испугался, а только удивился. Он спокойно оглядел их, усмехнулся в бороду и, выпрямившись, прошел в противоположный угол. Следом за ним прошмыгнул в па-

латку Скрипица в своей рваной свитке и вылезшей бараньей шапчонке...

У толстого фельдшера тряслись губы и глаза бегали по сторонам от страха. Да и все остальные храбрецы чувствовали себя неважно; они поглядывали друг на друга, словно выискивая того смельчака, который первый поднимется и бросится на Бурбу. Такой смельчак, однако, не находился, никто даже не пошевелился, точно они все попрелипали к своим местам...

Цыгане очистили на земле место для Бурбы, постлали ему плахту и поставили перед ним и Скрипицей кувшин с вином и стаканы. Бурба сидел в своем углу, смотрел на батуриnceв и усмехался, словно говоря: что, взяли?.. Он спокойно потягивал вино и, как ни в чем не бывало, не спеша, набивал табаком из вышитого разноцветным бисером кисета свою трубку, блестящую медной оправой.

— А добрая люлька! — шепнул Гуца, тихонько подтолкнув Синеноса. — За такую люльку и жинку отдать не жалко!..

Колбасник в свою очередь толкнул Кривохацкого, собираясь поделиться с ним и своим наблюдением, — но так и остался с раскрытым ртом, не успев сказать ни одного слова: в палатку ворвалась Домаха, простоволосая, растрепанная, полуодетая, с кочергой в руках, похожая на ведьму, только что оставившую чертов шабаш. Она, видимо, долго искала мужа по всему Батурину, пока ее бабье чутье не привело ее в цыганский табор.

— Где мой чоловік? — разразилась она криком, от которого у всех зазвенело в ушах. — Подайте его сюда, я ж ему, пьянице, всыплю, чтоб он знал, как гулять по ночам!..

Синенос пригнулся к земле и втянул голову в плечи, — но Домаха уже увидела его.

— А! Ты тут? Горилку пьешь? Гроши пропиваешь?..

Она ринулась к нему, как дикая кошка, размахивая кочергой, от которой все шарахнулись в разные стороны, повскакав с своих пригретых мест...

Не сдобровать было бы Синеносу, и хорошую порцию железной кочерги пришлось бы ему принять, со стыдом и

срамом, при многочисленных свидетелях. Но он, при всей неповоротливости своих мозгов, все же сообразил, что на этот раз легко избежать жениной расправы. Уклоняясь от кочерги, с видом человека, который не боится даже самого черта, он захрипел осипшим от страха голосом:

— А ну, хлопцы, берите злодея! Ну же, швыдче!..

Как ни страшен был Бурба, но у того в руках была только люлька, у Домахи же — железная кочерга: Синенос из двух зол выбрал меньшее.

Домаха, обернувшись, увидела Бурбу и, присев на землю, завопила не своим голосом:

— Ой маты, злодий!..

Слова ли Синеноса, вызванные его отчаянным положением, или крик Домахи действовали на гуляк, только они вдруг все задвигались и полезли кучей из своего угла...

У Бурбы беспокойно забегали глаза во все стороны. Хитрые цыгане куда-то все улетучились из палатки и он остался один перед надвигавшейся на него толпой пьяных мужиков, размахивавших кулаками и подбадривавших себя криками:

— Держить! Го-го! Мы ж ему!.. Го-го-го!..

Единственный человек, который мог быть на стороне Бурбы — Скрипица — трусливо заерзал на земле, отодвигаясь все дальше, забыв со страху на плахте скрипку и смычок; добравшись до края полотнища, он приподнял его и шмыгнул вон из палатки. Бурба поглядел ему вслед и презрительно усмехнулся...

Окружив разбойника тесным кольцом, гуляки кричали друг другу:

— Та бери ж его! Не бойся!...

Но никто не осмеливался «брать» Бурбу. А он, поднявшись с земли, выпрямился во весь свой громадный рост. Зубы его оскалились, глаза грозно поблескивали из-под насупленных бровей, концы усов топорщились и дергались, как у злого, свирепеющего пса. С мгновение он стоял в нерешительности, оглядывая бушевавших вокруг него людей, потом вдруг неожиданно нагнулся и поднял с земли скрипку и смычок Скрипицы. Не обращая ни на кого внимания,

он потрогал струны, точно пробуя — настроены ли они, не торопясь приправил скрипку к подбородку, взмахнул смычком — и ударил по струнам...

Сначала музыки не было слышно за пьяными криками гуляк; потом вдруг резкие, веселые звуки выскользнули из общего гула голосов наверх — и полилась звонкая, лихая плясовая, точно брызнули яркие солнечные лучи над темными бушующими волнами; и эти волны медленно опадали, становились ниже, слабее, тише, как будто таяли и теряли свои силы. Одни из гуляк еще продолжали, сами не зная для чего, кричать, другие, пораженные неожиданностью, затихнув, с недоумением, вытаращив глаза и раскрыв рот, смотрели на Бурбу и друг на друга, словно спрашивая: что это такое? Третьи, поддаваясь неудержимой веселости музыки, бессмысленно улыбались и толклись на месте, приотпывая ногами...

Среди наступившей тишины, в которой еще ярче зазвенели, запели струны скрипки, раздался вдруг хриплый голос:

— От гопак, так гопак!.. А ну, вот теперь я покажу, кто лучше танцует гопака — чи батуринцы, чи конотопцы!..

Это сказал Синенос, в пьяном мозгу которого как будто все перевернулось вверх дном от этой «чертовой» музыки; ему казалось, что это продолжается пирушка у Бурбы в Мазеповом Городище, и он весь горел желанием доказать Гуще, что конотопские танцоры в сравнении с ним никуда не годятся.

Он расставил руки, расчищая вокруг себя место и, приотпывая и выкручивая ногами в своих пудовых чоботах, выступил вперед и пустился в пляс. Все расступились, одобрительно кивая вконец захмелевшими головами...

Подбоченившись и другой рукой размахивая над головой, вместо платочка, кочергой, поплыла ему навстречу Домаха, кокетливо склонив набок свою распатланную голову, выпятив вперед живот, улыбаясь церемонно поджатыми губами...

Синенос дошел до середины палатки, присел, сорвал с себя шапку и ударил ею о землю; оставив ее там, он под-

прыгнул и, снова присев, схватил шапку, продолжая танцевать.

— Ось, як у нас! — сказал он, выбивая мелкую дробь, совершенно, казалось бы, невозможную для его грубых сапог.

А вокруг него, быстро семеня ногами в старых рваных черевичках, надетых на босую ногу, плыла павой Домаха, с любовью глядя на своего мужа. Это был единственный случай в их супружеской жизни, когда всегда злая и недовольная Домаха, казалось, любила своего благоверного и гордилась им...

Взяв руки в бока, колбасник вывернул в сторону свои плечи, чтобы показать свою стройность и гибкость, и пошел бочком-бочком, выбивая каблуками, глядя на носки своих чоботов. Поравнявшись с Гущей, он победоносно взглянул на него, словно спрашивая: а что, разве это не лучше конопских танцоров?..

Фельдшер поглядел на его ноги и упрямо покачал головой. Синенос, ни слова не говоря, еще чаще забил каблуками, вывертывая ноги и так, и этак, и на стороны, и вперед, и назад, — но Гуща уже не смотрел на него: он сам, не вытерпев, пошел впрысядку.

За фельдшером вывалился на середину палатки Кривохацкий; он долго топтался на месте, как медведь, пока, наконец, поймал равновесие и темп музыки. Он пошел вслед за Гущей и Домахой, с трудом ворочая неповиновавшими ему пьяными ногами.

Тут уже не выдержал и сивоусый хохол. Поросята у него за спиной заливались в мешке отчаянным визгом, — он прикрикнул на них, пнув в мешок кулаком:

— Та цытьте, оглашенны!..

Махнув рукой, словно говоря: пропадай все пропадом! — он с такой залихватской удалью бросился выплясывать перед Гущей, что тот, глядя на его сапоги, остановился и только топтался на месте, думая, что это его ноги так ловко танцуют...

— Гоп-гоп!.. Гоп-гоп!.. — приговаривал толстый фельдшер, поглядывая с гордостью вокруг себя и самодовольно

крутя головой:

— Ай да мы! От так-так!.. Гоп-гоп!..

«Чертовое наваждение», как батурицы потом называли музыку Бурбы, скоро охватило всех, — и пошло такое веселье, что цыгане бросили свои танцы и столпились у входа в палатку, удивленно глаза на развеселившихся батурицев. Дело приняло совсем неожиданный оборот: о злоде-е-Бурбе было совершенно забыто...

В Батурине, много времени спустя, не могли забыть этой музыки; те, кто слышали ее, говорили, что такого гопака им никогда уже не придется услышать. Как будто сам черт сидел в тех струнах и выгонял из них эти, затмившие разум даже у стариков, звуки. Если бы там был сам батько Хома, говорили они, то и он, несмотря на свои семьдесят лет и священный сан, пустился бы выделывать ногами всякие гопакские выкрутасы. Такая это была музыка!..

Пальцы Бурбы по грифу скрипки и смычок по струнам ходили с такой быстротой, что нельзя было различить их движения, как это бывает с колесными спицами при быстрой езде. Звуки вылетали из-под смычка точно целые стаи птиц, весело заливающих на ранней утренней заре при первых лучах солнца. Столько в них было радости, веселья, молодого задора, страстного огня, что даже те, которые никогда не танцевали, выделяли ногами такие фокусы, каких им даже во сне не приходилось выделять.

Скрипка пилила все быстрее и быстрее, заставляя плясунов делать невероятные усилия, чтобы поспевать за ней. Это было трудно, утомительно, — и веселье мало-помалу начинало пропадать. Уже редко кто смеялся, никто не вскрикивал, не подпевал в такт музыке, не приговаривал. У всех лица стали серьезные, хмурые, точно они делали какое-то важное дело или как будто им было уже вовсе не до гопака, а они плясали только потому, что не могли остановиться. У иных даже лицо почернело от усталости, глаза сами закрывались, голова моталась во все стороны, точно на сломанной шее. Казалось, что никто уже ничего не сознавал, не понимал, где он и что с ним...

Вдруг Домаха вскрикнула тонким, умирающим голосом:

— Ой, лышечко, не могу!..

Бурба засмеялся, резко дернул смычком по струнам — и музыка умолкла. Все сразу остановились, выпучив друг на друга глаза...

Никто не заметил, как и куда исчез Бурба; только полотнище палатки слегка колыхалось в том месте, где он стоял. Звуки скрипки, казалось, еще звенели в воздухе, а музыканта со скрипкой — как и не бывало. Может, его и вовсе тут не было, и все это было только дьявольской «марой»? В тишине слышно было, как в Батурине пели петухи...

Плясуны оттирали свиткой пот с лица, недоуменно пожимая плечами. Синенос прислушался к пению петухов, склонив голову набок, и сказал сам себе:

— Чи то первые, чи то вторые?..

— А вот сейчас узнаешь, какие! — визгливо отозвалась его жена, пробираясь к нему в толпе и снова угрожающе размахивая кочергой. — Ступай до дому, чертяка поганая!.. — она добралась до мужа и забарабанила по его спине и плечам крючком кочерги. — Вот тебе! Вот тебе!..

Синенос согнулся под градом ударов.

— Тю, ведьма! — сказал он, удивленно разводя руками. — Ей-Богу ж, таки настоящая ведьма, сто чертив ии батькове!..

Пьяная, ошалелая ватага двинулась вон из палатки. У всех вышибло из памяти, что здесь с ними было; помнили только, что хорошо выпили и что пора идти домой. Дорогой гуляки мирно разговаривали заплетающимися языками. Мозги их, правда, плохо ворочались, но они хорошо понимали друг друга:

— От и так! — сказал один, балансируя направо и налево руками. — Чего-ж? Хай Бог милуе!..

— Эге ж... — отозвался другой, деловито кивая головой.

Третий заметил:

— А мы й то... Чи не то... Як его...

— Та так... А вже ж... — согласился четвертый...

Потолковав, гуляки разбрелись по своим хатам и зава-
лились спать. Только на другой день они вспомнили о Бур-
бе и о том, как их морочила «нечистая сила»...

А на берегу Сейма уже было тихо и пусто. Костры по-
тухли, цыгане утомонились в своих шатрах. Только в боль-
шой палатке, при свете сальной свечки, воткнутой прямо в
землю, сидели на плахе Бурба и Скрипица. Бурба наливал
в стаканы вино и говорил:

— Теперь мы будем гулять! Пей!..

Скрипица трусливо поглядывал на него и пил, все по-
чему-то оглядываясь на приподнятое у входа полотнище.

— Озирнись еще раз, — сердито сказал Бурба, оскалив
зубы, — так я с тобой не так побалакаю!..

У Скрипицы затряслись руки и ноги. Бурба налил ему
еще вина — и он выпил, стуча зубами о край стакана и рас-
плескивая вино себе на свитку.

— Боишься? — спросил Бурба, усмехнувшись.

— Бо...боюсь... — пробормотал Скрипица, не смея взгля-
нуть на него.

— Чего ж ты боишься?

— Кажут, что ты... не пан Бурба, а... а сама нечиста си-
ла...

Бурба тихо засмеялся своим бараньим смехом.

— Дурни вы все! — сказал он, сердито нахмурившись...

Скрипица снял шапку и низко поклонился ему:

— Сделай божескую милость, пан Бурба, отпусти душу
мою на покаяние. Не могу больше... страшно с тобой...

Бурба молча, серьезно посмотрел на него.

— Добре! — сказал он тихо.— Отпущу. Только поиграй
мнеи прежде...

— Что играть, пан Бурба? — робко спросил Скрипица.

Бурба махнул рукой, как бы говоря: играй что хочешь.

Скрипица приладил скрипку к своему щетинистому под-
бородку и заиграл. Это была та самая песня, от которой
Скрипица плакал, когда ее играл Бурба на дворцовой сте-
не...

Разбойник оперся локтями о колени, подпер голову ла-
донями и, закрыв глаза, молча слушал. Скрипица искоса

взглянул на него — и ему стало страшно: у Бурбы по щекам катились слезы. Глаза у него были закрыты, он как будто спал и плакал во сне; грудь его тяжело дышала, в горле клокотало и судорожно тряслись его широкие, могучие плечи...

Свечка догорала; на берегу Сейма свежо зашумели от предутреннего ветра старые вербы. В входном отверстии палатки небо чуть засинело рассветом. Бурба вдруг поднял голову и уставился на Скрипицу мутными глазами; потом ударил себя кулаком в грудь и, плача, сказал:

— Где Марынка, Скрипица?.. Скажи, где Марынка?..

Скрипица все играл, леденя от страха.

— Не могу я без Марынки!.. — простонал Бурба и, уткнувшись лицом в свои широкие ладони, глухо, как собака, завыл...

Тихий, точно предостерегающий свист проскользнул в палатку. Бурба сразу затих и, махнув Скрипице, чтобы тот перестал играть, прислушался. Скрипица опустил скрипку, боязливо покосившись на вход палатки. Где-то недалеко послышался шорох, точно от крадущихся шагов...

Бурба схватил Скрипицу за ворот.

— Ходил до урядника? — хриплым шепотом спросил он, подняв над его головой туго сжатый кулак.

Скрипица совсем приник к земле.

— Я?.. Та Боже спаси и помилуй!.. — бормотал он, трясясь всем телом.

— Не бреш! Знаю, что ходил!..

Скрипица повалился ему в ноги и заплакал:

— Не губи, пан Бурба! То я сдурел... Чтоб душу свою спасти...

— Га, Иуда!..

Кулак Бурбы тяжело опустился на голову Скрипицы. Тот только крикнул и, как пустой мешок, повалился на землю...

Край полотнища внезапно откинулся — и в палатку вскочили урядник и стражники. У Бурбы оскалились зубы, усы ошетинились, глаза загорелись зеленым огнем.

— Не уйдешь! — сказал урядник, целясь в него из пистолета. — Сдавайся зараз!..

Разбойник отпрыгнул назад, к самому полотнищу. Грянул выстрел, свечка погасла. И тут случилось то, чего не могли предвидеть ни урядник, ни стражники. Быстрым, как молния, движением Бурба выдернул одну из жердей, на которых держалось полотнище — и вся палатка сразу рухнула, накрыв, как птиц сетью, урядника и стражников.

— Го-го! Держи!.. — закричали те, барахтаясь под огромным полотнищем...

Пока они высвободились из неожиданной западни — Бурбы и след простыл...

Говорили, что он уплыл в челне по Сейму или ускакал на цыганской лошади. Но батуринцы охотнее верили одному из стражников, который рассказывал, что в тот момент, когда погасла свечка — земля будто бы под Бурбой разверзлась и оттуда вырвался столб красного пламени, который и поглотил злодея...

Как бы там ни было — но Бурбу в Батурине с тех пор больше не видели...

Об авторе



Поэт и прозаик Владимир Ленский (Владимир Яковлевич Абрамович) родился 4 (16) марта 1877 г. в Таганроге. Учился в таганрогской гимназии и Килийском городском училище (Бессарабская губерния). В кишиневской гимназии сдал экзамен на звание аптекарского ученика, затем в Харьковском университете получил диплом помощника провизора. До 1901 года служил в аптеках городов Южной России.

Ленский дебютировал в печати в 1898 г. стихами и рассказом в газете «Таганрогский вестник». В 1900 г. его стихи появляются в журналах «Новый мир» и «Север».

С 1902 – постоянный сотрудник херсонской газеты «Юг», заведующий херсонским отделением газеты «Южное обозрение» (Одесса). В 1904-1905 гг. выступал как издатель, составитель и художник-оформитель херсонских адрес-календарей.

В конце 1905 г. Ленский обосновался в Петербурге, где прожил почти всю жизнь. Через своего брата, критика, прозаика, поэта и публициста Н. Абрамовича, вошел в группу литераторов, близких к М. Арцыбашеву. В 1907 г. совместно с Абрамовичем издал модернистский альманах «Проталина» и эпигонско-символистский сборник собственных стихов «Утренние звоны», который был встречен резкой критикой (в том числе со стороны А. Блока и К. Чуковского).

Позднее Ленский выступал с многочисленными рассказами, написал десяток романов, в том числе «Трагедия брака» (1911, 1913, 1915), «Песня крови» (1912, 1913), «Большая любовь» (1913, 1914), «Вечная драма» (1913), «Под гнездом аиста» (1913, 1917), «Белые крылья» (1914, 1916), «Зори ночные» (1915), «Черный

став» (1917), в соавторстве с братом – «Демон наготы» (1916) и «Игра» (1917).

Многие произведения Ленского были посвящены модным темам: самоубийство, «вопросы пола», любовные страсти, психология женской души, смерть и грех. Очевидно, все это обеспечило Ленскому читательскую популярность: дважды выходило его семитомное собрание сочинений, незадолго до революции началось издание еще одного собрания. Наиболее известное его произведение, память о котором сохранилась и в наши дни – стихотворение «Вернись, я все прощу», которое было положено на музыку Б. Прозоровским и стало знаменитым романсом, а первая строка его, в свою очередь – крылатой фразой.

После революции Ленский написал историческую драму из эпохи У. Тайлера «Союз восстания» (1919); в 1925 году выпустил ряд сказок в стихах («Ванька с Танькой», «Как на Руси лапти перевелись», «Лень-ленище», «Чепуха чепушистая»), в 1928 г. – сборник рассказов «Сморчки» (1928). В двадцатые годы также выступал с отдельными рассказами, либретто (оперетта «Коломбина», 1925).

7 ноября 1930 года Владимир Ленский был арестован по обвинению в причастности к «антисоветской нелегальной группе литераторов «Север». 20 февраля 1931 года приговорен к десяти годам лагерей. В заключении находился в Соловецком лагере, где умер 14 марта 1932 года.

Книга публикуется по первоизданию (М., Московское книго-издательство, 1917) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

В оформлении обложки использована гравюра

Т. Роулендсона.

Оглавление

I. Чертово Городище	7
II. Вечерние тайны	9
III. Чертовщина	13
IV. Черт и ладан	21
V. Чумак Наливайко	24
VI. Марынка колдует	29
VII. Чумацкий запах	34
VIII. Чертовы песни	37
IX. Дорога в «пекло»	42
X. Чудеса продолжают	47
XI. Черт и ангел	55
XII. Потачкина ведьма	58
XIII. Тайна кочубеевского подполья	64
XIV. Белое привидение	68
XV. Калека Родион	73
XVI. Жидовка-выхрестка	80
XVII. Переезд	86

XVIII. Первый шаг к знакомству	94
XIX. Чертово пиршество	97
XX. На мельнице	101
XXI. Быль	111
XXII. Заколдованная скрипка	121
XXIII. Сон в летнюю ночь	128
XXIV. Новое столкновение	136
XXV. Тревожная ночь	143
XXVI. Скрипица и Марынка	146
XXVII. Черт	153
XXVIII. Порченная	161
XXIX. Ночные гости	167
XXX. Похищение	172
XXXI. Погоня	177
XXXII. Гроза	181
XXXIII. Врата рая	187
XXXIV. Панна Мария	195
XXXV. Находка Родиона	201
XXXVI. Наталка	208
XXXVII. Оксана	213

XXXVIII. Новое открытие	217
XXXIX. Цыганская свадьба	222
XL. Наваждение	227
Об авторе	237

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.